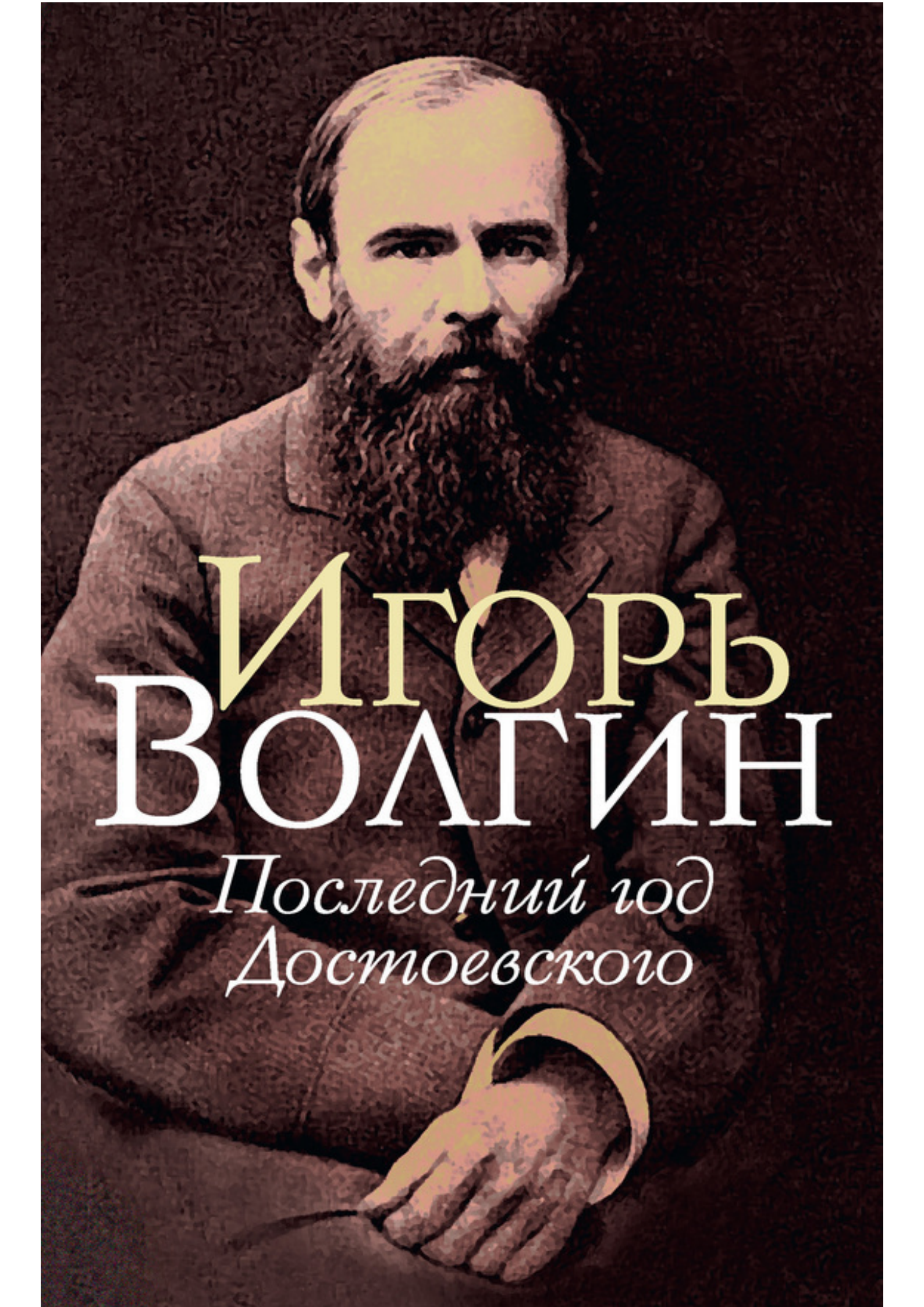


A portrait of Igor Volgin, a man with a full, dark beard and mustache, wearing a dark suit jacket over a light-colored shirt and a dark tie. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background is dark and textured.

ИГОРЬ ВОЛГИН

*Последний год
Достоевского*

Игорь Волгин. Сочинения в семи томах

Игорь Волгин

Последний год Достоевского

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1.09 Достоевский Ф.М.
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

Волгин И. Л.

Последний год Достоевского / И. Л. Волгин — «АСТ»,
2016 — (Игорь Волгин. Сочинения в семи томах)

ISBN 978-5-17-098761-0

Игорь Волгин – историк, поэт, исследователь русской литературы, основатель и президент Фонда Достоевского. Его книги, переведенные на многие иностранные языки, обозначили новый поворот в мировой историко-биографической прозе. В «Последнем годе Достоевского» судьба создателя «Братьев Карамазовых» впервые соотнесена с роковыми минутами России, с кровавым финалом царствования Александра II. Уникальные открытия, сделанные Игорем Волгиным, позволяют постичь драму жизни и смерти Достоевского, в том числе тайну его ухода.

УДК 821.161.1.09 Достоевский Ф.М.
ББК 83.3(2Рос=Рус)1

ISBN 978-5-17-098761-0

© Волгин И. Л., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Необыкновенная книга	6
Несколько вступительных слов. От автора	7
Часть первая	9
Глава I. «Колеблюсь над бездной...»	9
Глава II. Судьба Алёши	20
Глава III. Вера Засулич и старец Зосима	33
Глава IV. Портрет с натуры	46
Глава V. Три вечера в марте	59
Глава VI. Две недели в феврале	95
Глава VII. Недрёманное око	107
Глава VIII. Свидетель казни	119
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Игорь Волгин

Последний год Достоевского

© Волгин И. Л., 2016

© Лихачёв Д. С., предисловие, наследники, 2016

© Рыбаков А. И., художественное оформление, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Необыкновенная книга

Игорь Волгин написал необыкновенную книгу. Необыкновенную по жанру, замыслу, исполнению.

Обычно очерки «о жизни и творчестве» очень слабо связывают жизнь и творчество с окружающей действительностью, с тем, что делается вокруг.

В «Последнем годе Достоевского» общественные события и обстоятельства частной жизни охвачены единым взором, отсюда возникает удивительное ощущение исторической достоверности и полноты. Через события предсмертного года Достоевского Игорю Волгину удалось разглядеть всю его жизнь, уловить её движение и внутренний смысл. Исторические события, жизнь страны и жизнь Достоевского рассматриваются в их целокупности. События жизни Достоевского оказываются значительными, обретают особый смысл.

Касаясь отношений Достоевского с самодержавным государством и с революционным движением, И. Волгин не ограничивается сообщением известных фактов, а выдвигает собственное, на мой взгляд, вполне убедительное их толкование, отвергающее многие неверные и устаревшие представления и дающее простор для дальнейших исследований. Его понимание событий, предшествовавших смерти Достоевского и происходивших совсем рядом в тесном переплетении с делами вполне домашними, очень необходимо именно сейчас, когда в литературе о Достоевском на мировой арене идёт острая борьба за писателя.

Уверен, что эта умная, талантливая книга станет заметным событием в отечественной и мировой литературе о Достоевском и не оставит равнодушным никого из тех, кому дорога русская культура.

Академик Дмитрий Лихачёв

Несколько вступительных слов. От автора

В один из последних дней 1880 года Достоевский заехал к своему старинному приятелю Алексею Николаевичу Плещееву: завёз долг двадцатилетней давности. «Вот ещё 150 р., – пишет он в адресованной поэту записке, – всё-таки за мной остаётся хвостик. Но отдам как-нибудь в ближайшем будущем, когда разбогатею. А теперь ещё пока только леплюсь. Всё только ещё начинается»¹.

Ему оставалось жить чуть больше месяца.

Пушкин незадолго до своей гибели пишет «Памятник»; Гоголь, Тургенев, Толстой в конце пути тоже подводят итоги. Достоевский говорит: «Всё только ещё начинается».

Он умирает на взлёте, в момент величайшего проявления своей духовной мощи: после недавнего московского триумфа, едва успев дописать последние страницы «Братьев Карамазовых». Он уходит в час, когда, по его собственным словам, «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной»², уходит, не ведая, что всего через месяц после его кончины будет оборвано беспокойное царствование Александра II. Он уходит, не подозревая о том, что его собственные похороны сделаются заключительным актом целой исторической эпохи.

В свой последний год автор Пушкинской речи становится едва ли не самой заметной фигурой общенационального масштаба.

Конечно, гений интересен в любой момент времени. Но всегда по-особому значителен финал его жизненного пути: здесь как бы срабатывает тайная мысль всего «сценария». И если к тому же последний вздох художника совпадает с исключительной минутой в жизни его отечества, тогда наш поздний исторический интерес получает двойное оправдание.

Эта книга не охватывает (да и не может охватить) всех тех вопросов, которые занимали её героя: *он*, а не *они* составляют её сокровенный интерес. Но не от разгадки ли этой главной проблемы существенно зависят все остальные?

Автор исходил не только из тех соображений, что избранный им год – последний и что в нём сходятся основные линии жизни. Концентрация исследовательских усилий в одной исторической точке позволяет острее рассмотреть (и по-новому оценить) то, что окажется в фокусе.

Медленное вглядывание в обстоятельства и события этого последнего года вдруг позволяет обнаружить вещи, неразличимые при высоком (в смысле – *над*) литературоведческом парении; вслушивание в тон, в интонацию каждого из тех, кому предоставлено слово, делает внятными звуки, нередко скрадываемые бодрой биографической скороговоркой. Ни один факт не должен приниматься на веру: ему надлежит получить подтверждение при перекрёстном допросе свидетелей и обрести своё место в системе доказательств.

Сюжеты, возникающие в ходе нашего повествования, как правило, не затрагивались (или почти не затрагивались) исследователями. Так, в почти необозримом море отечественной и зарубежной литературы о Достоевском нельзя указать работ, которые были бы посвящены смерти писателя и отношению к ней русского общества. Подобные лакуны немислимы в науке о Пушкине, Гоголе, Толстом.

От читателя, очевидно, не укроется предпочтение, отдаваемое первоисточникам. Впервые приводится значительное количество печатных материалов (откликов прессы, дневниковых и мемуарных свидетельств и т. п.), доселе не привлекавших исследовательского внима-

¹ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Ленинград: 1972–1990. Т. 30. Кн. I. С. 238–239. (Далее: Достоевский Ф. М. ПСС.)

² Там же. С. 23.

ния и поэтому практически неизвестных. Сказанное, разумеется, относится и к большинству использованных архивных документов.

Порою автор отваживался на предположения: историческая реконструкция (как и любая реконструкция) допускает восстановление неизвестного и утраченного на основе достоверного.

Автор не стремился удержаться в жестких хронологических рамках, когда выход из них диктовался самим сюжетом: отступления от 1880 года оправданы тем, что почти каждое событие последнего года Достоевского так или иначе соотносится с коллизиями всей его жизни и – не побоимся это сказать – с дальнейшим ходом русской истории.

Важно было остановиться и на развязке личных и литературных отношений Достоевского с Тургеневым, а также на некоторых моментах его духовного сосуществования с Львом Толстым.

Предвидя возможные упреки в «достоевскоцентризме», когда речь касается отношений его героя с великими современниками, автор спешит оговориться, что он не руководствовался добрым школярским правилом – раздать всем сестрам по серьгам: он старался соотнести происходящее с кругом сознания Достоевского. Нужно ли разъяснять, что исторический анализ вовсе не игнорирует суждений субъективных и даже пристрастных: они являются принадлежностью самой эпохи.

«Всё только ещё начинается», – написано им за месяц до смерти. И он не ошибся. Всё ещё было впереди. Сам он так и не успел отдать Плещееву всю занятую у него сумму: последний «хвостик» возвращала уже Анна Григорьевна. Но с Достоевским всегда особые счёты. Существует задолженность ему самому – его современников и потомков. Причём «сумма» имеет тенденцию к росту.

Следует отдавать долги.

Часть первая

Глава I. «Колеблясь над бездной...»

Зима 1880 года

Новый, 1880 год огорошил сюрпризом. В первый же день простыла Анна Григорьевна – и слегла с кашлем и лихорадкой. Это не замедлило сказаться на работе: хотя еженочное писание двигалось своим чередом, перемаранные листы угрожающе скапливались в кабинете. Обычно с этих черновых и получерновых листов текст передиктовывался Анне Григорьевне, которая воспроизводила его стенографически, после чего аккуратнейшим образом переписывала.

В «Русском вестнике» хвалили её почерк.

Между тем приближались последние сроки: январский номер, как всегда, выходил в конце месяца, следовательно, не позже 16 января девятая книга «Братьев Карамазовых» должна была быть в редакции. Приходилось писать в Москву успокоительные письма: к новогодним поздравлениям многоуважаемым Николаю Алексеевичу и Михаилу Никифоровичу (Любимову и Каткову) присовокуплялись извинения за невольную задержку. Кроме того, сама девятая книга – «Предварительное следствие» – вместо предполагаемых полутора печатных листов разрасталась до пяти: финал безумной ночи в Мокром, допрос Мити с обыском и раздеванием, а также массой других идущих к делу подробностей заслуживали самого досконального изображения.

Времени было в обрез.

Пришлось отложить в сторону неотвеченные письма, отказаться от необходимейших визитов. «И во всей моей жизни страшный беспорядок», – жалуется он 8 января, вежливо отклоняя приглашение на вечернюю чашку чая.

Приглашение исходило из дома графини С. А. Толстой – вдовы поэта Алексея Константиновича Толстого. Достоевский любил бывать в этой дружественной ему семье и потому не замедлил посетить салон графини, как только очередная порция «Карамазовых» была отправлена в Москву.

...Возможно, в ту самую ночь, когда Фёдор Михайлович Достоевский возвращался от графини Толстой, толпа полицейских чинов ломилась в одну из квартир дома номер девять по Сапёрному переулку. Квартира встретила пришельцев огнём. Силы оказались слишком неравными: первая типография «Народной воли» была взята штурмом. Двадцативосьмилетний наборщик Абрам Лубкин (по прозвищу Птаха), прежде чем его схватили, успел выстрелить себе в висок.

Год начинался с револьверной пальбы.

Род оружия

Впрочем, к этому уже привыкли. С тех пор как в январе 1878-го Вера Ивановна Засулич из револьвера системы «бульдог» в упор поразила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, подобные события – ошеломляющие, из ряда вон выходящие – утратили свою чрезвычайность.

События эти были *ответом* на приговоры участникам политических процессов – к сотням лет каторги, на издевательства в местах заключения, на административный произвол и массовые высылки без суда и следствия. Они были ответом на полную безгласность низов и абсолютную безнаказанность верхов.

Впервые (если не считать одного дня – 14 декабря 1825 года) страна была поставлена перед небывалым в её истории фактом: организованной вооружённой борьбой против существующей власти. Факт этот постепенно перевешивал всё остальное: голод и крестьянское разорение, разномыслие западников и славянофилов, провалы во внешней политике и т. д. «Дай Бог, чтобы я ошибался, – писал Лев Толстой, – но мне кажется, что все вопросы восточные и все славяне и Константинополи пустяки в сравнении с этим»³.

Толстой называет именно те проблемы, которые занимали Достоевского на протяжении минувших двух лет. Автор «Дневника писателя» полагал, что именно там, на Балканах, будет положено начало некоему мировому нравственному перевороту – тому, что он именовал «русским решением вопроса». Это решение должно было зиждиться не на холодном государственном расчёте, а на правде и справедливости – «пусть даже в ущерб собственной выгоде».

Русско-турецкая война закончилась; армия, уже различавшая на горизонте купол «святой Софии», по доброй воле отступила от Константинополя. После Берлинского конгресса «собственная выгода» России (как бы в насмешку над его словами) была действительно сведена на нет: дипломаты отдали то, за что было заплачено русской кровью. Что же касается нравственной – главной для него – стороны дела, то о ней и не вспоминали. Восточный вопрос не обновил Европы и не повёл к возрождению его собственной страны.

Прекратился и выпуск «Дневника писателя», к которому за два года (1876–1877) читающая Россия уже привыкла. Подписчики, приученные находить на страницах «Дневника» если не ответы на злобу дня, то, по меньшей мере, пристальное её обсуждение, теперь должны были оставаться в неведении относительно того, как смотрит их постоянный собеседник на совершающиеся события.

События между тем совершались.

Пока генерал-адъютант Трепов оправлялся от полученной раны, в Киеве был убит жандармский полковник барон Гейкинг, а в Ростове-на-Дону жизнью заплатил за свою деятельность агент сыскной полиции Никонов (у позднейших историков их «вина» вызывала некоторые сомнения). В Киеве же Валериан Осинский стрелял в местного прокурора Котляревского. Лишь спасительная толщина прокурорской шубы остановила полёт пули и сохранила жизнь её владельцу: счастливцев не был даже ранен, хотя и свалился на землю от страха.

Россия не знала ничего подобного.

Правда, 14 декабря 1825 года из каре восставших войск на Сенатской площади прогремело несколько выстрелов – и Каховский, один из тех штатских, коих правительственный бюллетень аттестует господами «гнусного вида во фраках», сразил генерала Милорадовича; правда, 4 апреля 1866 года пуля Каракозова просвистела мимо решётки Летнего сада, едва не задев Александра II. Но это были печальные *исключения*. Теперь же власть постоянно находилась под револьверным прицелом.

Впрочем, страшен был не только револьвер.

4 августа 1878 года, около девяти часов утра, шеф жандармов и начальник III Отделения генерал-адъютант Мезенцов возвращался домой после ранней молитвы в часовне у Гостиного двора. Вместе со своим спутником – отставным подполковником Макаровым – генерал вступил на Михайловскую площадь. В этот момент, как гласит текст официального донесения императору, он «был... встречен неизвестным молодым человеком среднего

³ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах. Москва: 1928–1958. Т. 62. С. 409. (Далее: Толстой Л. Н. ПСС.)

роста, одетым в серое пальто и в очках». Молодой человек стремительно бросился на шефа жандармов и поразил его кинжалом в живот (чем и был отчасти поколеблен слух, будто генерал носит кольчугу). Подполковник Макаров с криком «держи, держи» ударил нападавшего зонтиком. «...В ту же минуту другой молодой человек с чёрными усами в длинном синем пальто и чёрной пуховой круглой шляпе выстрелил в Макарова, но не попал, и затем оба убийцы вскочили на стоявшие в Итальянской, вероятно их собственные, дрожки, запряжённые вороною лошадей; на козлах сидел молодой кучер с чёрными усами без бороды. Сев на дрожки, злоумышленники понеслись по Малой Садовой и скрылись из виду»⁴.

Вороной не подвёл. Это был, как выяснилось впоследствии, знаменитый Варвар – тот самый «революционный конь», который в 1876 году умчал из тюремного госпиталя Петра Кропоткина, в 1877 году – бежавшего из тюрьмы В. С. Ивановского, а за несколько месяцев до покушения на Мезенцова спас от тюремной погони А. К. Преснякова (Преснякова позднее поймут – и казнят в ноябре 1880 года; тогда же Достоевский обозначит его имя в своей записной книжке: к этой записи мы ещё обратимся). По прихоти судьбы именно Варвар, наконец-то пленённый правительством и призванный на полицейскую службу, 1 марта 1881 года доставит в Зимний дворец смертельно раненного русского самодержца.

Тяжёлый кинжал, предназначенный для медвежьей охоты, всадил в Мезенцова («ниже кольчуги») Сергей Кравчинский. Вскоре он эмигрирует и под псевдонимом Степняк выпустит за границу несколько книг о русской революции, которые принесут ему европейскую известность. В одной из них он упомянет Достоевского: «Единственные талантливые люди, которых она (реакция. – *И.В.*) закрепила за собой... – Достоевский в художественной литературе и Катков в журналистике – оба ренегаты революционного дела»⁵.

Автор не вполне прав: не говоря уже о несоизмеримости талантов, Катков никогда не принадлежал к «революционному делу». Что же касается «ренегатства» Достоевского, то к этой расхожей формуле нам ещё придётся вернуться.

Чудом избежавши виселицы, Сергей Кравчинский namного переживёт автора «Бесов»: он погибнет случайно, в 1895 году, – под колёсами пригородного лондонского поезда.

Имя «молодого кучера с чёрными усами» – Адриан Михайлов. Его поймут не скоро: его процесс, которым, как всяким политическим делом, будет остро интересоваться Достоевский, состоится только через два года – накануне Пушкинского праздника – и окажется в некоторой связи с последним.

Наконец, следует сказать о третьем участнике драмы, разыгравшейся на Михайловской площади, – человеке «в чёрной пуховой шляпе», который огнём прикрыл своего товарища (на суде в 1882 году он будет утверждать, что стрелял в воздух, ибо усматривал в подполковнике Макарове не охранника, а лишь случайного спутника). Этот человек станет *последним соседом* Достоевского: зимой 1880–1881 годов в доме 5/2 по Кузнечному переулку, на одной лестнице с Достоевским, под чужой фамилией будет проживать член «великого ИК» – первого Исполнительного комитета «Народной воли», участник убийства Мезенцова, а затем почти всех покушений на Александра II – Александр Иванович Баранников.

Так затягивались узлы, распутать или разрубить которые уже не представлялось возможным. Так протягивались нити – с «мировых подмоштов» к автору «Карамазовых».

Род смерти

Через четыре дня после убийства Мезенцова состоялось высочайшее повеление, согласно которому все дела, связанные с применением оружия против представителей вла-

⁴ Цит. по кн.: *Народоволец А. И.* Баранников в его письмах. Москва, 1935. С. 34–35.

⁵ *Степняк-Кравчинский С. М.* Россия под властью царей. Москва, 1965. С. 381.

сти, передавались в ведение военных судов. После самосуда военный суд – самый скорый суд в мире: его приговоры, как правило, предпрешены и обжалованию не подлежат.

Русской революции было обеспечено упрощённое судопроизводство.

12 мая 1879 года временным генерал-губернаторам было отправлено следующее секретное отношение: «Государь Император, получив сведение, что некоторые из политических преступников, судившихся в Киеве военным судом... приговорены к смертной казни расстрелянием, изволил заметить, что в подобном случае соответственнее назначать повешение... О вышеизложенном имею честь сообщить... для руководства при конфирмации приговора военных судов по делам сего рода»⁶.

Эту бумагу подписал главный военный прокурор В. Д. Философов – муж той женщины, которую Достоевский глубоко чтит за её «умное сердце» и в чьём доме он так любил бывать.

Александр II благоволил к своему главному военному прокурору, но, в отличие от Достоевского, не жаловал его жену – Анну Павловну. Впрочем, неприязнь была взаимной. «Я ненавижу настоящее наше правительство... – признавалась Анна Павловна в письме мужу, состоявшему одним из высших юридических агентов этого правительства, – это шайка разбойников, которые губят Россию»⁷.

Ходили упорные слухи, что в доме Философовых (разумеется, на её половине) скрывалась после освобождения из-под стражи Вера Засулич. Имя Анны Павловны упоминали в связи с побегом Кропоткина. В огромной казённой квартире главного военного прокурора хранилась нелегальная литература и, возможно, бывали такие гости, для которых хозяин, у которого доставало такта не интересоваться, кто именно посещает его жену, должен был требовать впоследствии смертных приговоров.

Можно предположить, что кое-какие не подлежащие огласке подробности, связанные с деятельностью военных судов, через А. П. Философова доходили к Достоевскому.

Явный итог этой деятельности был таков: шестнадцать смертных казней за один только 1879 год. Во всем XIX столетии не было больше такого «урожайного» года.

Смерть окликала смерть: эхо перекатывалось над всей страной.

Попытка третья

Необходимо одно отступление.

Часто различные по своему историческому содержанию понятия обозначают одинаковыми словами.

Русские революционеры конца 1870-х годов именовали себя террористами. Так же именуются ныне те, кто сделал террор универсальным орудием своей слепой и нечистой игры.

Между тем ни исторический облик деятелей «Народной воли», ни их методы, ни, главное, нравственные мотивы их поступков – всё это весьма непохоже на то, что ныне обнимается понятием международного терроризма.

⁶ Венедиктов Д. Г. Палач Иван Фролов и его жертвы. Москва, 1931. С. 27. Высочайшее пожелание было незамедлительно исполнено. Казни обрели государственную единообразность. «Надеюсь, вы не приговорите его к почётной смерти», – заметил судьям великий князь Николай Николаевич перед вынесением одного приговора (см.: Революционная журналистика семидесятых годов. Ростов-на-Дону, 1907. С. 284). Расстрел – в виде исключения – стал применяться только к офицерам (например, к Н. Е. Суханову).

⁷ Тыркова А. В. Анна Павловна Философова и её время // Сборник памяти А. П. Философовой. Т. 1. Петроград, 1915. С. 326. Разница убеждений не мешала А. П. Философовой любить мужа. Высланная осенью 1879 года из России за свои политические связи («Ради тебя она выслана за границу, а не в Вятку», – заметил Александр II своему главному военному прокурору), она вернулась на родину уже после смерти Достоевского. Впрочем, при Александре III карьера Философова практически завершилась: ему не могли простить поведения его жены.

Народовольцы не взрывали железнодорожных вокзалов в часы наибольшего скопления публики; не палили без разбора в выходящую из храма толпу; не захватывали женщин и детей в качестве заложников (они вообще не знали института заложничества); не убивали своих идейных противников (скажем, ругавших их журналистов). Они, наконец, не считали, что их метод борьбы – единственно правильный. Они решились на то, на что они решились, лишь после того, как пришли к заключению (другое дело – обоснованно или нет), что все другие аргументы уже исчерпаны. При этом сами народовольцы вовсе не полагали, что вынужденные приёмы их борьбы имеют универсальную ценность.

«Террор – ужасная вещь, – говорил С. М. Кравчинский, – есть только одна вещь хуже террора: это – безропотно сносить насилия»⁸.

...26 августа 1879 года Исполнительный комитет «Народной воли» вынес смертный приговор русскому самодержцу.

Впрочем, отдельные попытки предпринимались и раньше.

2 апреля 1879 года император прогуливался вокруг Зимнего дворца. Когда (как сказано в правительственном сообщении) он подошёл к штабу С.-Петербургского военного округа, что у Певческого моста, «с противоположной стороны здания вышел человек, весьма прилично одетый, в форменной гражданской с кокардою фуражке. Подойдя ближе к Государю Императору, человек этот вынул из кармана пальто револьвер, выстрелил в Его Величество и вслед за этим сделал ещё несколько выстрелов»⁹.

На деле картина выглядела менее статично: шестидесятилетний Царь-Освободитель спас свою жизнь лишь тем, что, подхватив полы шинели, стал зигзагами уходить от Александра Соловьёва (как деликатно выражались газеты, государь «изволил быстро повернуть налево»).

Император, спотыкаясь и падая, бежал прочь от Соловьёва; Соловьёв, паля из револьвера, гнался за императором (на стене штаба остались выщербины от трёх пуль – одна из них пробила щёку проходившего мимо военного); охрана с воплями пыталась настигнуть нападавшего. Наконец капитан Кох (этот офицер императорской стражи будет контужен 1 марта 1881 года, но переживёт своего подопечного) догнал Соловьёва – и свалил его одним ударом: плашмя шашкой по спине.

Покушение пришлось на второй день Пасхи. Оставалось две недели до 17 апреля (однажды, присутствуя на заседании Особого совещания, созванного для противодействия крамоле, император грустно заметит: «Вот как приходится мне проводить день моего рождения»). На послезавтра (то есть 4 апреля) приходилась и другая дата – тринадцатая годовщина каракозовского покушения.

На сей раз не нашлось Комиссарова, чтобы отвести кощунственную руку. Эту миссию – правда, с меньшей расторопностью – исполнил капитан Кох: подобные действия полагались ему по штату. Однако инерция мифа оказалась сильна: в народе ходили слухи, что царя спасла какая-то крестьянская баба. «Это очень характеристическая черта»¹⁰, – раздумчиво замечает современник.

Государь, под дулом револьвера мечущийся по главной площади своей столицы, являл невеселое зрелище. Александр был обречён. И хотя третье (вторым стрелял в 1867 году в Париже поляк Березовский) чудесное спасение давало повод для новых благодарственных молебнов и верноподданнических адресов, последние отнюдь не гарантировали августейшую безопасность. Предсказание гадалки о том, что русский царь падёт после восьмого посягновения, с каждой новой попыткой возрастало в цене.

⁸ Цит. по кн.: Таратута Е. С. М. Степняк-Кравчинский – революционер и писатель. Москва, 1973. С. 354.

⁹ Новое время. 1879. 4 апреля.

¹⁰ Гр. Де Воллан Г. А. Очерки прошлого // Голос минувшего. 1914. № 4. С. 122.

3 июня 1879 года председатель Комитета министров Пётр Александрович Валуев записывает в дневнике: «Видел их императорских величеств. Вокруг них всё по-прежнему, но они не прежние. Оба оставили во мне тяжёлое впечатление. Государь имеет вид усталый и сам говорил о нервном раздражении, которое он усиливается скрывать. Коронованная полуразвалина. В эпоху, где нужна в нём сила, очевидно, на неё нельзя рассчитывать... Во дворце те же Грот и Голицын, та же фрейлина Пилар, те же метрдотель и прочие... Вокруг дворца, на каждом шагу, полицейские предосторожности; конвойные казаки идут рядом с приготовленным для Государя традиционным в такие дни шарабаном, чувствуется, что почва зыблется, зданию угрожает падение, но обыватели как будто не замечают этого. Хозяева смутно чувствуют недоброе, но скрывают внутреннюю тревогу»¹¹.

Предчувствия не обманули «хозяев»: соловьёвский выстрел был первой из трёх *главных* попыток 1879 года.

Схваченный тридцатидвухлетний преступник попытался принять яд, заранее припасённый в ореховой скорлупе. Ему помешали. Срочно доставленные врачи дали сильное противоядие и вызвали кровавую рвоту¹².

Здесь следует остановиться. Ибо в газетных отчётах об этом эпизоде всплывает имя, хорошо знакомое Достоевскому. Профессор Дмитрий Иванович Кошлаков – один из двух врачей (вторым был Трап), дававших противоядие Соловьёву, дабы, по словам подпольного листка, спасти его «для пыток и казни». Он – домашний доктор Достоевских, точнее – постоянный консультант. Уже не первый год он пользуется главой семьи. Именно Кошлаков находит у своего пациента эмфизему лёгких и отправляет его лечиться в Эмс.

Достоевский мог получить информацию из первых рук.

6 апреля Исполнительный комитет «Земли и воли» опубликовал следующее предупреждение: «Исполнительный Комитет, имея причины предполагать, что арестованного за покушение на жизнь Александра II Соловьёва, по примеру его предшественника Каракозова, могут подвергнуть при дознании пытке, считает необходимым заявить, что всякого, кто осмелится прибегнуть к такому роду выпытывания показаний, Исполнительный Комитет будет казнить смертью. Так как профессор фармации Трап в каракозовском деле уже заявил себя приверженцем подобных приёмов, то Исполнительный Комитет предлагает в особенности ему обратить внимание на настоящее заявление». К этому тексту следовало примечание: «Настоящее заявление послано по почте на бланках, за печатью Исполнительного Комитета г.г. Трапу, Дрентельну¹³, Кошлакову и Зурову¹⁴»¹⁵.

Конечно, трудно предположить, чтобы Кошлаков, известный «своей чрезвычайной добротой и снисходительностью»¹⁶, решился бы на подобное дело. Вместе с тем предупреждение «Земли и воли» не лишено оснований: в своё время упорно циркулировали слухи, будто бы Каракозова перед смертью пытали.

Каракозовское покушение было памятно Достоевскому.

Тринадцать лет назад автор «Преступления и наказания» (работа над романом была тогда в полном разгаре) влетел к Аполлону Николаевичу Майкову. Присутствовавший при этом поэт П. И. Вейнберг вспоминает:

«Он был страшно бледен, на нём лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

¹¹ Цит. по: Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880-х гг. Москва, 1964. С. 91.

¹² Новое время. 1879. 4 апреля.

¹³ Начальник III Отделения и шеф жандармов.

¹⁴ Петербургский градоначальник.

¹⁵ Листок «Земли и воли». 1879. № 4. 6 апреля.

¹⁶ См. в кн.: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Кн. XXXI (Т. 16). 1895. С. 476.

– В царя стреляли! – вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

– Убили? – закричал Майков каким-то... нечеловеческим, диким голосом.

– Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...»¹⁷.

Доселе русских государей ещё ни разу не убивали на площади, при всём честном народе. С ними управлялись келейно – душили шарфом в собственной спальне, пристукивали табакеркой, приканчивали в разгаре дружеского застолья. Каракозов нарушил традицию: он посягал явно. Он создавал *прецедент*. И в троекратно повторённом «стреляли» сказалось сознание необратимости этого факта. Отныне русская историческая власть лишалась ореола неприкосновенности. Отныне её нужно было охранять.

Позже он назовёт Каракозова «несчастливым слепым самоубийцей». В этом определении, столь отличном от официальных клише, где на первом месте всегда стояло «злодейство», сквозит сострадание. Здесь (впрочем, как и всегда) Достоевскому важнее всего человеческое: его интересует не столько убийство, сколько сам убийца, его судьба, его порыв к самоуничтожению.

«В настоящую пору бежал бы из Питера в пустыню», – пишет Достоевскому К. П. Победоносцев через девять дней после соловьёвского покушения. Напутствуя своего корреспондента, отъезжающего на лето в Старую Руссу, он желает ему «вернуться благополучно и здорово в лучшую пору»¹⁸.

Соловьёв был повешен 28 мая на Смоленском поле, но «лучшей поры» не наступило. В Петербург, Харьков и Одессу назначаются временные генерал-губернаторы, получившие чрезвычайные полномочия. Россией начинают управлять по законам военного времени.

...Дочь Философовых любила, по её словам, «что есть духу» пробежать через всю анфиладу комнат огромной родительской квартиры. Она вспоминает: «Лечу я однажды таким образом, а было мне уже шестнадцать лет и гимназию я кончила, и налетаю в дверях на Фёдора Михайловича. Сконфузилась, извиняюсь, и вдруг поняла, что не надо. Стоит он передо мною бледный, пот со лба вытирает и тяжело так дышит, скоро по лестнице шёл: «Мама дома? Ну, слава Богу!» Потом взял мою голову в свои руки и поцеловал в лоб: «Ну, слава Богу! Мне сейчас сказали, что вас обеих арестовали»¹⁹. Когда именно произошёл описанный случай? Дочь Философова не называет даты. Но можно попытаться её установить.

В «Очерках прошлого», принадлежащих перу графа де Воллана (нам ещё не раз придётся останавливаться на этих позабытых записках), говорится: «Учреждение генерал-губернаторства, хватание каждого подозрительного лица не обещает ничего хорошего. Соловьёв будто бы сказал: «Меня будет судить потомство». Взяли, говорят, Философову. У Салтыкова (Щедрина) произвели обыск, и он, пока была у него полиция, расхаживал по комнате и пел: «Слався, слався, Святая Русь!». Всё это, может быть, относится к области мифов, но интересно, что такие слухи ходят»²⁰.

Действительно, слухи оказались ложными. А. П. Философова будет вскоре выслана из России, но несомненно, что именно в результате подобных слухов взволнованный Достоевский поспешил к Философовым. И произошло это, как явствует из сопоставлений с текстом де Воллана, в апреле 1879 года – в первые дни после соловьёвского покушения.

Казнь Соловьёва отнюдь не принесла успокоения.

¹⁷ Вейнберг Пётр. Четвёртое апреля 1866 г. (Из моих воспоминаний) // Былое. 1906. № 4. С. 299–300.

¹⁸ Литературное наследство. Т. 15. Москва, 1934. С. 136.

¹⁹ Каменецкая М. В. (Встречи с Достоевским) // Сборник памяти А. П. Философовой. Т. 1. С. 266.

²⁰ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 133. Текст в журнале напечатан таким образом, что его можно принять и за часть письма Глеба Успенского де Воллану.

Отцы и дети

«От статей, печатающихся во всех газетах... об убийстве Мезенцова, мне делается тошно! – пишет Достоевскому редактор «Гражданина» В. Ф. Пуцкович в августе 1878 года. – ...Я понял все статьи так: если Вы хотите, чтобы мы помогли Вам, т. е. правительству... то дайте русскому народу... конституцию!!! Вот голос печати».

Далее Пуцкович – с ещё большим негодованием – передаёт Достоевскому слова «одного проректора Университета»: «А в сущности хорошо, что его (Мезенцова) укололи, – по крайней мере это будет хорошим предостережением нашим отупевшим абсолютистам-монархистам»²¹.

В своём письме Пуцкович довольно точно фиксирует отношение либеральных кругов к убийству «сонного тигра», как называли начальника III Отделения. Достоевский возмущён откликами прессы не меньше редактора «Гражданина»: он называет их «верхом глупости». Но для него гораздо важнее другое.

«Это всё статьи либеральных отцов, несогласных с увлечениями своих нигилист-детей, которые дальше их пошли», – отвечает он Пуцковичу. Обозначена коллизия «Бесов»: Степан Трофимович – Петр Верховенский.

Это давняя и излюбленная идея Достоевского. И он не устаёт внушать её своему корреспонденту: «Если будете писать о нигилистах русских, то ради Бога, не столько браните их, сколько отцов их. Эту мысль проводите, ибо корень нигилизма не только в отцах, но отцы-то ещё пуще нигилисты, чем дети. У злодеев наших подпольных есть хоть какой-то гнусный жар, а в отцах – те же чувства, но цинизм и индифферентизм, что ещё подлее»²².

Один из персонажей «Бесов» цитирует Апокалипсис: «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тёпл, а не горяч и не холоден, то изблюю тебя из уст моих»²³.

В письме Пуцковичу речь идёт, по существу, о том же. Жар – пусть «гнусный», но свидетельствующий об искренности и вере: «тёплый» именно отцы; «ангелу Лаодикийской церкви...» – не распространяется на детей. Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников полностью, то в значительной мере перекладывается на плечи людей сороковых годов.

Здесь проходит, может быть, не столь заметная, но тем не менее весьма существенная черта, отделяющая Достоевского от того лагеря, к которому принадлежал Пуцкович.

Так же как и Катков, неустанно требующий обрушить всю тяжесть «карающего меча государства» на головы нигилистов, Пуцкович ждёт искоренения крамолы от власти, и только от власти: сила должна быть сломлена *силой*.

Ни в одном заявлении Достоевского 1878–1881 годов – ни в письмах, ни в «Дневнике писателя», ни в зафиксированных мемуаристами высказываниях – мы не встретим указаний на то, что автор «Братьев Карамазовых» считал возможным решить проблему чисто адми-

²¹ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828. У самого Пуцковича были, помимо прочего, и личные причины для огорчений. В том же письме он сообщает Достоевскому, что в своё время переслал Мезенцову полученные им письма от неких «одесских социалистов», угрожавших ему, Пуцковичу, смертью. Однако III Отделение никак на это не реагировало. Интересно сравнить жалобу Пуцковича со следующим (позднейшим) заявлением Исполнительного комитета: «Вследствие множества угрожающих писем, рассылаемых в последнее время от имени Исполнительного Комитета людьми, не имеющими с этим комитетом ничего общего, Исполнительный Комитет считает нужным заявить, что все его предупреждения и заявления будут печататься в «Земле и воле» или в «Листке “Земли и воли”». Все остальные будут считаться подложными» (Листок «Земли и воли». 1879. № 2–3. 22 марта).

²² Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 62.

²³ См.: Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 11. Ленинград, 1974. С. 11.

нистративным путём. Приверженец монархии, он не находит ни единого слова одобрения для тех репрессий, к каким монархическая власть прибегает в целях самосохранения.

В поединке революции с самодержавным государством он видит не столько противоборство наличных политических сил («кто – кого»), сколько глубокую историческую драму. Ибо разрыв с народом характерен, по его мнению, не только для революционного подполья, но и для того, что этому подполью противостоит: для всей системы русской государственности. Власть столь же виновата в разрыве с народом, как и те, кто пытается эту власть разрушить. Истоки драмы едины.

Мысль о всеобщей вине (вине всего образованного общества) не оставляет Достоевского до последних его дней. Он записывает в «предсмертной» тетради: «Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Фёдоры Павловичи.)»²⁴.

Русская революция, таким образом, есть не причина, а следствие: она лишь «оригинальная форма» застарелой национальной болезни. Болезнь эта (в противовес мнениям Каткова, Победоносцева, Пуцыковича) не поддается лечению «железом и кровью».

Подпоручик из Старой Руссы

19 мая 1879 года Достоевский сообщает Победоносцеву из Старой Руссы: «Здесь, когда я приехал, разговаривали об офицере Дубровине (повешенном) здешнего Вильманстрандского полка»²⁵.

Интерес жителей Старой Руссы к Дубровину вполне объясним. 20 апреля 1879 года он был казнён по приговору Петербургского военно-окружного суда.

Некоторые жители Старой Руссы (в том числе военный врач Рохель, близкий знакомый семьи Достоевских) знали Дубровина лично и могли сообщить о нём много любопытного.

Внешность Дубровина обращала на себя внимание. Его однокашник по военному училищу вспоминает: «Дубровин был украшением правого фланга: с розовым цветущим лицом, с вьющимися белокурыми волосами, крепкого телосложения, он славился своею силою среди товарищей своей роты»²⁶.

Подпоручик В. Д. Дубровин жил в Старой Руссе сравнительно недалеко от Достоевского: в доме вдовы священника Л. Г. Бедринской по Лебедеву переулку. Не исключено, что писатель встречал его во время своих прогулок.

Когда 16 декабря 1878 года к Дубровину явились жандармы, он открыл по ним огонь. Его обезоружили; он вырвался, бросился в другую комнату и схватил кинжал (на котором было выгравировано «трудись и защищайся»). Защищаться пришлось недолго – силы были слишком неравные. Дубровина повалили на пол и – не без труда связали.

Буйно ведёт себя Дубровин в тюрьме и на предварительном следствии: во весь голос поёт, произносит через форточку своей камеры возмутительные речи. Помещённый в карцер, он пытается покончить с собой: вскрывает вены, но в последнюю минуту, истекая кровью, зовёт на помощь. Его спасают; спустя некоторое время он вновь впадает в буйство, начинает заговариваться.

В высшей степени необычно вёл себя Дубровин и на военном суде. Смертная казнь грозила ему только за одну вину – вооружённое сопротивление при аресте – и он, словно нарочно, торопит именно такую развязку.

²⁴ Биография, письма и заметки из записной книжки // *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 1. Санкт-Петербург, 1883. С. 370 (вторая пагинация). (Далее: Биография...)

²⁵ *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 67.

²⁶ Цит. по ст.: *Шакол А.* Казнь Дубровина // *Каторга и ссылка.* 1929. № 5. С. 70, 74.

Введённый в залу под усиленным конвоем, Дубровин повернулся к судьям спиной и стал разглядывать публику. Когда председательствующий закричал на подсудимого, призывая его к порядку, тот, сокрушая охрану, ринулся прямо к судейскому столу. Лишь после того как к его груди были приставлены штыки, восемь человек, навалившись, скрутили двадцатитрёхлетнего подпоручика.

Имелись ли у Дубровина какие-либо психические отклонения или его поведение было хорошо продумано? Трудно сказать. Его дважды свидетельствовали медики – и оба раза признали психически здоровым.

«Он, говорят, представлялся сумасшедшим до самой петли, – пишет Достоевский Победоносцеву, – хотя мог и не представляться, ибо бесспорно был и без того сумасшедший»²⁷.

Речь идёт о ненормальности, носящей не столько органический, сколько социальный характер. Революция для Достоевского есть отклонение от нормы, «соблазн и безумие»: тут Победоносцев не стал бы спорить со своим корреспондентом.

Однако согласился бы будущий обер-прокурор Святейшего синода со следующим, может быть, ещё не вполне ясным самому автору, замыслом: «Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы преступление политическое. Его бы казнили»²⁸.

Таково известное свидетельство А. С. Суворина (в его дневнике) о намерении Достоевского продолжить «Братьев Карамазовых». «Он» – это отнюдь не Дмитрий Карамазов (который какими-то своими чертами неуловимо напоминает Дубровина), а «тишайший» Алёша, казалось бы, само воплощение нормы среди «ненормальных», обладатель счастливой психической организации.

К мысли о таком Алёше автор придёт не сразу. Пока же он пристально всматривается в таких людей, как Дубровин, пытаясь за «безумием» разглядеть нечто иное.

«С другой стороны, – продолжает Достоевский своё письмо к Победоносцеву, – мы говорим прямо: это сумасшедшие, и между тем у этих сумасшедших своя логика, своё учение, свой кодекс, свой бог даже, и так крепко засело, как крепче нельзя»²⁹.

Автор письма как бы приглашает своего корреспондента поразмыслить над причинами этого удивительного явления. Ссылка на ненормальность была бы слишком удобной: она снимала вопросы и успокаивала совесть. Достоевский избирает другой путь: он старается взять этот ещё неизвестный ему тип «крупным планом» – и с некоторым изумлением убеждается, что нынешние «безумцы» весьма отличаются от его старых героев. Признание у революционеров «своего бога» – много значит в устах автора «Бесов». У Петра Верховенского нет и не может быть «бога»: он, по его собственному признанию, «мошенник, а не социалист».

Позволим себе некоторую вольность. Исходя из характера «бесов», экстраполируем их поведение за пределы романа. Представим, как повели бы они себя в момент казни – если бы, скажем, таковая воспоследовала. Очевидно, это поведение по своему «тону» должно было бы чем-то напоминать трагикомическую ситуацию в сцене убийства Шатова. Липутин, Лямшин, Виргинский, Толкаченко, да и сам Пётр Верховенский, вряд ли отважились бы посмотреть в глаза собственной смерти.

Знал ли Достоевский о том, как вёл себя Дубровин на эшафоте? Очевидно, знал: он упоминает о слухах. Но существовали ещё и другие источники.

²⁷ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 67.

²⁸ Дневник Алексея Сергеевича Суворина. *London—Москва*, 1999. С. 454. Издатели относят эту запись к «Отрывкам из воспоминаний» и датируют её 1903 г. Ср.: Дневник А. С. Суворина. Москва – Петроград, 1923. С. 16.

²⁹ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 67.

По свидетельству официального документа (донесения распорядителя казни в штаб Военного округа), Дубровин взойшёл на эшафот «с песней возмутительного содержания»³⁰. Его всё ещё боялись: в помощь двум палачам, специально выписанным из Москвы и Варшавы (один из них, уголовник Иван Фролов, именно казнью Дубровина начал свою знаменитую карьеру), из Литовского тюремного замка «на случай борьбы преступника» доставили ещё четырёх уголовников³¹.

Согласно другой версии, Дубровин на эшафоте оттолкнул священника и палача и сам надел на себя петлю (последнее трудно представить, так как казнимый наверняка был крепко связан). Во всяком случае известно, что он действительно отказался от напутствия и попытался обратиться к солдатам, окружавшим эшафот, с речью: голос его был заглушён барабанным боем, уже не смолкавшим «до окончания экзекуции». (Дней через десять, очевидно в прямой связи с этим эпизодом, генерал-губернатор Петербурга И. В. Гурко издаёт специальное распоряжение – играть экзекуционный марш и бить дробь, если осуждённый вздумает на эшафоте что-либо говорить или кричать³².)

«Листок “Земли и воли” утверждал, что рота, в которой прежде служил Дубровин, выстроенная на месте казни, машинально отдала ему честь. Если последняя подробность и преувеличена (солдаты в последний момент взяли на караул, как это и предписывалось инструкцией), она всё же весьма симптоматична. На глазах современников начинала твориться легенда, которая затем – после гибели на эшафоте Осинского, Соловьёва, Лизогуба, “южных бунтарей” и других жертв правительственного террора – обрела значительную нравственную силу. ореол мученичества, окружавший государственных преступников, начинал отбрасывать обратный свет на всю их прежнюю деятельность.

Последние годы Достоевского совпали с появлением на русской исторической сцене нового типа людей, у которых самым сильным козырем в их схватке с правительством была их собственная жизнь. Со своей стороны, они требовали такой же платы: этот смертельный *размен* происходил на глазах общества, которое, не зная толком, восхищаться ему или негодовать, взирало на это неравное противоборство, не предпринимая ни малейшей попытки ввязаться в борьбу.

Этот тип политических преступников, как мы уже говорили, решительно отличался от «бесов», изображённых писателем в начале десятилетия: их разделяла *жертвенность*, немедленная готовность заплатить за собственные убеждения максимально высокую цену.

В своей последней рабочей тетради он записывает: «“Только то и крепко, подо что кровь протечёт”. Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он – закон крови на земле»³³.

Запись полемична: первая взятая в кавычки фраза предполагает чьё-то чужое, глубоко враждебное мнение.

С какими же «негодяями» спорит Достоевский?

Главный «бес», Петр Верховенский, считал кровь «важной вещью, соединительной вещью». Подразумевается – чужая кровь.

Террор – даже самый «бескорыстный» – не мог вызвать в авторе «Преступления и наказания» ничего кроме ужаса и гнева. Скорее наоборот. Однако распространялось ли это нравственное отвержение на личность всех тех молодых людей, кто в безумстве своём поднимал оружие?

Это вопрос.

³⁰ Ушерович С. С. Смертные казни в царской России. Харьков, 1933. С. 163.

³¹ См.: Венедиктов Д. Г. Палач Иван Фролов и его жертвы. С. 12–13.

³² См.: Ушерович С. С. Указ. соч. С. 164.

³³ Биография... С. 355 (вторая пагинация).

Глава II. Судьба Алёши

Сенсация в провинциальной прессе

26 мая 1880 года в одесской газете «Новороссийский телеграф» появилось следующее сообщение: «...из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа («Братья Карамазовы». – *И.В.*), слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать... что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве»³⁴.

Безымянный автор (он подписался буквой *Z*) не только косвенно подтверждает дневниковую запись Суворина, но даже «усиливает» её: не просто «политическое преступление», а «идея о цареубийстве». Отсюда понятно суворинское «его бы казнили» (ибо если *Z* говорит лишь об идее, то Суворин – о «политическом преступлении» как о совершившемся факте).

Поразительно, что крупная легальная газета в мае 1880 года осмелилась сообщить читателям столь пикантные подробности. Не менее поразительно, что произошло это ещё при жизни Достоевского, – и теоретически можно допустить, что данная публикация была ему известна³⁵¹⁴⁸⁴.

Разумеется, Достоевский не одобрил бы способ действий, избранный его любимым персонажем. Но перестал бы он любить его? Это очень сомнительно. Тот факт, что тягчайшее политическое преступление призван был совершить «ранний человеколюбец», герой, обладающий исключительными моральными качествами, – этот факт в высшей степени знаменателен. «Лучший», «избранный» по этической шкале Достоевского совершал «худшее» по шкале юридической, государственной, да и человеческой тоже.

Надо полагать, Победоносцев (как частное лицо) ужаснулся бы, узнай он о творческих намерениях Достоевского. Но для обер-прокурора Святейшего синода (а к маю 1880 года Победоносцев уже стал таковым) подобная развязка романа вдвойне неприемлема. Среди революционеров было немало выходцев из духовной среды, семинаристов и т. п. Однако бывший послушник (то есть лицо, готовящее себя к монашескому служению) в роли цареубийцы – случай беспрецедентный, наносящий тяжкий удар по авторитету Церкви.

Что бы ни совершил Алёша Карамазов в своём романном будущем, сомнительно, чтобы эти поступки были бы способны уничтожить его личное обаяние, поставить под сомнение изначальную чистоту его нравственной природы и тем самым лишить его читательских симпатий. Такова художественная логика самого романа.

И «нынешний» и «будущий» Алексей Фёдорович Карамазов по своему психологическому складу не имеет и не может, конечно, иметь ничего общего с Петром Степановичем Верховенским, с Нечаевым или нечаевцами – с «бесами». Для Нечаева революция – своего рода искусство для искусства: она не только может использовать человека как слепое ору-

³⁴ Новороссийский телеграф. 1880. 26 мая. № 1578. (Журнальные заметки.)

³⁵ В своей работе «Путь Алексея Фёдоровича Карамазова» Д. Д. Благой высказывает предположение, что источником этих слухов и даже автором заметки мог быть сам Суворин¹⁴⁸⁴. Если это так, то возможность знакомства с ней Достоевского становится ещё более вероятной. Однако серьёзным аргументом против авторства Суворина служит сам текст статьи, мало напоминающий суворинские тексты. Не был ли автором петербургский журналист И. Ф. Василевский («Буква»)? Именно он представлял «Новороссийский телеграф» на Пушкинском празднике в Москве и, очевидно, являлся петербургским корреспондентом газеты. Второй «кандидат» – В. П. Буренин, ближайший и, очевидно, хорошо информированный сотрудник Суворина. Один из его криптонимов – *Z*.

¹⁴⁸⁴ См. в кн.: Благой Д. От Кантемира до наших дней. Москва, 1979. С. 349.

дие своих «высших» интересов, она «выше» нравственности вообще. Мнимая прикосновенность «наших» («Бесы») к таинственному миру конспиративных «пятёрок» очень льстит их провинциальному самолюбию и служит своего рода средством для изживания их психологических комплексов.

Иное дело – Алёша.

Сколько продолжений у «Братьев Карамазовых»?

Но пора процитировать дневниковую запись А. С. Суворина полностью.

«Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером...» Так излагается А. С. Сувориным (в его дневниковой записи 1903 года) один из неосуществлённых планов продолжения «Братьев Карамазовых».

До сих пор этих задуманных планов было известно пять. Нам хотелось бы указать ещё на один.

Упоминание о нём встречается у того же А. С. Суворина – в его широко известных воспоминаниях. Причём если приводимая выше дневниковая запись сделана через шесть лет после смерти Достоевского, то воспоминания опубликованы «по свежим следам» – в день похорон писателя.

«Алёша Карамазов, – пишет Суворин в «Новом времени», – должен был явиться героем следующего романа, героем, из которого он (Достоевский. – *И.В.*) хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве...»³⁶

Оба суворинских свидетельства (дневниковое и газетное) всегда принимались за высказанную двукратно одну и ту же версию продолжения «Братьев Карамазовых». «...В одном и очень существенном, – замечает Д. Д. Благой, – заметка в “Новом времени” и дневниковая запись полностью совпадают: Алёша становится революционером».

Нам кажется, что совпадения здесь нет и в помине.

Сравнивая дневниковую запись Суворина с его воспоминаниями, Д. Д. Благой пишет: «Естественно, что такое гласное сообщение (то есть публикация воспоминаний в «Новом времени». – *И.В.*) имело более приглушённый характер (ведь не прошло и трёх месяцев после убийства царя) по сравнению с записью в “Дневнике”, который Суворин писал не для печати, а для себя и для истории. Потому же он скрыл и своё авторство под псевдонимом “Незнакомец”»³⁷.

В этих двух утверждениях содержатся две существенные ошибки.

Во-первых, как мы уже говорили, воспоминания Суворина были опубликованы 1 февраля 1881 года: то есть не только «не прошло и трёх месяцев после убийства царя», как полагает Благой, но ещё оставался целый месяц до такового³⁸.

Во-вторых, Суворину не было никакой надобности «скрывать» своё авторство. Вся читающая Россия знала, что Незнакомец и Суворин – одно и то же лицо: уже много лет это ни для кого не являлось секретом.

Таким образом, соображения, указывающие на желание Суворина «приглушить» известную ему версию, автоматически отпадают. Просто он обнарудовал лишь одну из них.

В то время как версий было *две*.

³⁶ Незнакомец. О покойном // Новое время. 1881. 1 февраля.

³⁷ Благой Д. Указ соч. С. 349.

³⁸ Ошибка исследователя вызвана тем, что он называет неверную дату публикации статьи Суворина: даётся ссылка на «Новое время» от 26 мая (?) 1881 г., а не от 1 февраля.

Действительно. В первом случае (в «Дневнике») будущий Алёша, по логике вещей, именно тот самый «ходячий тип», который способен совершить «политическое преступление». Он идёт по тому же пути, что и его предшественники. И – с тем же результатом. «Его бы казнили».

Во втором случае (в воспоминаниях) – Алёша «русский социалист», то есть социалист в духе самого Достоевского. Следовательно, он за «русское (то есть – нравственное) решение вопроса», при котором ни о каком «политическом преступлении» как будто не может быть и речи.

Таким образом, А. С. Суворин говорит не об одном, а фактически о двух различных продолжениях «Братьев Карамазовых». И каждое из них противоречит другому.

Либо Суворин что-то напутал, либо...

Либо здесь не было никакого противоречия. Чистейшая душа, «ранний человеколюбец», казалось бы бесконечно далекий от забот и треволнений русской революции, *естественно* должен был ступить на её тернистый путь.

«Его бы казнили». Он разделит бы участь Каракозова, Дубровина, Соловьёва.

При кажущейся множественности альтернатив реальный исход был только один.

Решил ли «для себя» сам создатель «Братьев Карамазовых», какой именно путь уготован его герою? Ответить на этот вопрос крайне затруднительно. Известно, что у Достоевского сюжетные замыслы в процессе своего романного воплощения претерпевали самые различные метаморфозы. Поэтому о планах реализации того или другого из них следует говорить очень осторожно и – в сослагательном наклонении.

Во всяком случае, автора серьёзно занимали те два варианта, которые в своё время были сообщены Суворину.

Но – только ли Суворину?

К воспоминаниям Суворина

В четверг 29 января 1881 года (то есть на следующий день после смерти Достоевского) двадцатипятилетний студент Академии художеств И. Ф. Тюменев записывает в дневнике: «Мне кажется, скончайся теперь Тургенев, Гончаров, Островский, никого бы не было так жалко, как именно Фёдора Михайловича, который только что начал завладевать вниманием общества, только что крайне заинтересовал всех своими «Карамазовыми», только приготовился повествовать дальше о судьбе Алёши, этого, по его намерению, нового русского евангельского социалиста...»³⁹

Тюменев, говоря о «русском евангельском социалисте», фактически повторяет приведённое выше свидетельство Суворина (с добавлением слова «евангельский»). Однако – повторяет ли? Ведь запись Тюменева помечена 29 января; воспоминания же Суворина «О покойном» появятся в печати только через два дня – 1 февраля. Откуда же Тюменеву, человеку лично с писателем незнакомому, стали известны его скрытые художественные намерения?

В самом тексте романа нет прямых указаний на «евангельский социализм» Алёши (а есть только ясно выраженное желание продолжить роман). Следовательно, Тюменев воспользовался какими-то иными источниками. Ими могли быть литературные слухи, суждения о романе в периодической печати, либо, наконец (этого нельзя полностью исключить), – заявления самого Достоевского на литературных вечерах⁴⁰.

³⁹ Литературное наследство. Т. 86. Москва, 1973. С. 335.

⁴⁰ Допустимо, впрочем, ещё одно предположение: запись Тюменева за 29 января сделана им не в этот день, а несколько позднее, когда автор уже ознакомился со статьей Суворина в «Новом времени».

Уже после смерти Достоевского в «Литературном журнале», издававшемся при газете «Новое время», была помещена статья В. К. Петерсена (подписанная псевдонимом «Оникс») – «Вступление к роману «Ангела». «По словам покойного, – пишет автор, – Алексей Карамзov должен был выразить положительный тип детолюбца-христианина, совершенно чистого сердцем»⁴¹.

Спрашивается: откуда Петерсен почерпнул эти сведения?

В краткой заметке «От автора», предваряющей роман, ни словом не упоминается ни о «детолюбце-христианине», ни вообще о каких-либо других достоинствах будущего Алёши Карамзova. Поэтому выражение Петерсена «по словам покойного» следует, кажется, понимать буквально: имеется в виду не авторское (романное) слово, а живая речь самого Достоевского, то есть устное высказывание.

Но как бы там ни было, в 1881 году версия об Алёше – христианском социалисте (версия, опирающаяся главным образом на внероманные источники) не оставалась секретом для широкой публики.

Впрочем, обсуждались и другие варианты.

В своих воспоминаниях Л. И. Веселитская (В. Микулич) рассказывает, что осенью 1880 года, будучи в гостях у старой приятельницы писателя Елены Андреевны Штакеншнейдер, она разговорилась с ней о Достоевском.

«А как его здоровье?» – «Плохо. Он часто хворает и много работает. Он продолжает Карамзовых. Теперь будет падение Алёши»⁴².

Это важное свидетельство никогда не отмечалось исследователями. Правда, в нём содержится одна неточность: осенью 1880 года у Достоевского не было намерения немедленно продолжать «Карамзовых». Он решил сделать двухлетний перерыв. Таким образом, Е. А. Штакеншнейдер сообщает В. Микулич не о работе над продолжением романа, а скорее всего, о планах этого продолжения.

Указание Штакеншнейдер на будущее «падение» Алёши как будто подтверждает ещё одну из дошедших до нас версий: пробуждение в Алёше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Не исключено, что именно это и имелось в виду. Но слово «падение» у Микулич никак не прокомментировано. Поэтому, наряду с падением в его *романтическом* смысле, можно представить и другое: падение как гражданский и жизненный крах, как политическую катастрофу. Во всяком случае, такое предположение нельзя полностью игнорировать.

Итак, ещё при жизни Достоевского наблюдается одновременное бытование разных версий «второго» романа.

Естественно спросить: уж не сам ли Достоевский способствовал распространению этой – достаточно разноречивой – информации? Теперь у нас есть основания полагать, что именно так оно и было. Более того: можно вообразить, когда и при каких обстоятельствах один из интересующих нас вариантов (а именно – с «евангельским» Алёшей) был сообщён Суворину.

Свидетельство Софьи Ивановны

Сравнительно недавно были опубликованы дневниковые записи забытой ныне писательницы Софьи Ивановны Смирновой (по мужу – актёру Александринского театра – Сазоновой). В 1880 году Смирновой-Сазоновой было двадцать восемь лет. «Фёдор Михайло-

⁴¹ Литературный журнал. 1881. № 7. Стб. 609.

⁴² Микулич В. Встреча со знаменитостью. Москва, 1903. С. 21.

вич, – замечает Анна Григорьевна, – был дружен с Софьей Ивановной Смирновой и очень ценил её литературный талант»⁴³.

29 февраля 1880 года, в первой половине дня, Достоевский посетил Софью Ивановну, которая, между прочим, сообщила ему, что, занятая своими делами, она не сможет быть вечером у Суворина (там справлялось четырёхлетие «Нового времени»). Достоевский уехал. После него явился Суворин – и принялся уговаривать. Она пообещала: «С<уворин> очень б<ыл> рад, целовал мне руки».

Если бы это только было возможно, то и нам, любопытствующим читателям чужих дневников, вовсе не грех «целовать руки» Софье Ивановне: благодаря её тогдашнему согласию мы ныне обладаем свидетельством высокой важности.

...Они вновь встретились вечером. За поздней трапезой Софья Ивановна сидела между Достоевским и Сувориным и таким образом была невольной свидетельницей (а скорее всего – и участницей) их беседы.

«Достоевский удивлён моему приезду. За ужином гов<орил> Сув<орину> про себя, что он русский социалист и что напрасно это просмотрели в первой части “Братьев Карамазовых”, где он это высказывал, объясняя, в чём состоит русский социализм...»⁴⁴

Достоевский усиленно подчёркивает, что он – «русский социалист». И это настоятельное указание перекликается с глухим (нерасшифрованным) признанием того же Суворина: «Политические идеалы Достоевского, мимоходом сказать, были широки, и он не изменил им со дней своей юности»⁴⁵.

«Мимоходом» говорит о том же и первый биограф Достоевского Орест Фёдорович Миллер: «...социалистом в широком человеческом смысле этого слова он никогда не переставал быть»⁴⁶.

Если Достоевский и «ренегат революционного дела» (Степняк-Кравчинский), то следует согласиться, что это «ренегатство» носит не совсем обычный характер.

Убеждённый противник революции (и всех форм революционного насилия), он вместе с тем остаётся искренним приверженцем её «высших» (то есть «евангельских») целей⁴⁷. Он хотел воплотить свою веру в жизненном подвиге Алёши Карамазова и его судьбой указать путь: найти альтернативу своему собственному – «его бы казнили».

Но тут возникало одно непреодолимое затруднение.

Непреодолимое затруднение

Такого Алёши ещё не существовало в природе. Этот духовный тип (так полагал Достоевский) лишь намечался в действительной жизни. Те же «русские социалисты», которые были, – шли прямой дорогой на эшафот.

«Но братья явились бы несомненными деятелями социализма, – пишет уже упоминавшийся нами Петерсен. – Иван вышел бы подстрекателем, мрачным фанатиком идеи перестроить заново мир...»⁴⁸. Эти соображения, хотя и высказанные в достаточно грубой форме, не так уж неосновательны.

⁴³ Достоевская А. Г. Воспоминания. Москва, 1971. С. 290. (Далее: Достоевская А. Г.)

⁴⁴ Достоевский. Материалы и исследования. Ленинград, 1980, Т. 4. С. 275–276. (Далее: Материалы и исследования.)

⁴⁵ Новое время. 1881. 1 февраля.

⁴⁶ Биография... С. 175 (первая пагинация).

⁴⁷ Об этом см. подробнее в нашей работе: Доказательство от противного // Вопросы литературы. 1976. № 9. См. также: Игорь Волгин. Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. Москва, 2004. С. 196–230.

⁴⁸ Литературный журнал. 1881. № 7. Стб. 609.

Перед автором «Братьев Карамазовых» вставала дилемма: либо создать ещё один идеальный образ (своего рода «Идиота» русской революции: именно так несколько раз именуется Алёша в черновых набросках к роману), либо воплотить в будущем Алёше те реальные человеческие судьбы, с трагическими развязками которых современники сталкивались на протяжении последних лет.

«Его бы казнили».

Очевидно, оба замысла существовали параллельно. И эти творческие колебания нашли отражение в двух разных версиях, приводимых Сувориным.

Но не могут ли параллельные (как это бывает у Достоевского) в конце концов пересечься?

На первый взгляд может показаться, что замысел об Алёше, совершающем «политическое преступление» (назовём его условно версией Суворина / Z), возник позже, чем замысел о «русском евангельском социалисте».

Работа над романом начинается в 1878 году (хотя задумывается он, естественно, раньше). По времени это совпадает с началом жестокого и кровавого противостояния между правительством и революционным подпольем. В 1878 году подобные проявления носят ещё единичный и разрозненный характер (одна смертная казнь за год). Последующие годы (1879–1880) дают мощный всплеск обоюдного террора. На этот период приходится наибольшее количество покушений (в том числе – четыре попытки цареубийства) и соответственно – самая высокая за весь XIX век цифра смертных казней (двадцать одна).

Нет ничего невероятного в том, что будущий Алёша «доходит даже до идеи о цареубийстве»: идея, как говорится, носилась в воздухе.

«...Жизнеописание-то у меня одно, – сказано в авторском предисловии, – а романов два. Главный роман второй – это деятельность моего героя уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент»⁴⁹.

«Текущий момент» (то есть 1878–1880 годы) давал автору обильный материал для предпочтения одной из версий.

Подпольщик-террорист (он же в большинстве случаев – смертник) становится едва ли не самой значительной фигурой русской политической жизни.

Действительность вносила свои коррективы в творческие планы Достоевского.

Повторяем: так может показаться. Ибо на деле получается, что действительность не столько корректировала, сколько *подтверждала* его творческие намерения. Не исключено, что мысль об Алёше-цареубийце присутствовала у Достоевского с самого начала.

Ряд совпадений

Об этом прежде всего свидетельствует подмеченное в своё время Л. П. Гроссманом сходство фамилий Карамазов – Каракозов^{50,148551}. Но кроме фонетического сходства можно было бы указать и на иные – не менее значимые – созвучия.

⁴⁹ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 14. С. 6.

⁵⁰ Правда, на это указывал ещё Страхов, добавляя, что Иван (а не Алёша) «должен был выйти на дорогу политического преступника и совершить какое-нибудь страшное покушение»¹⁴⁸⁵. Это чрезвычайно любопытное свидетельство, подтверждающее структурную роль «страшного» политического преступления в планах «второго» романа. Конечно, у Ивана Фёдоровича Карамазова имеется несравнимо больше шансов на амплуа политического преступника, нежели у его брата Алёши. Такое романное решение было бы «логичным» и художественно обоснованным. Однако оно не содержало бы тех парадоксальных возможностей, которые, как будет показано ниже, открывались в случае реализации версии Суворина / Z.

¹⁴⁸⁵ См.: Русь. 1883. 6 января.

⁵¹ См.: Гроссман Л. Достоевский. Москва, 1965. С. 569–572.

В черновом наброске так и не завершённого предисловия к «Бесам» сказано: «В Кириллове народная идея – сейчас же жертвовать собою для правды. Даже несчастный, слепой самоубийца 4 апреля в то время верил в свою правду (он, говор<ят>, потом раскаялся – слава Богу!) и не прятался, как Орсини, а стал лицом к лицу».

Итак, в предисловии к «Бесам» должен был упоминаться Каракозов! Более того: его поступок так или иначе связывался с «народной идеей».

Это было невероятно; напечатать такое было бы невозможно. Не потому ли предисловие так и осталось недописанным?

Далее в наброске следовало: «Жертвовать собою и всем для правды – вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду»⁵².

В самом романе эта идея не получила ощутимого развития.

Но через десять лет у Достоевского звучит что-то очень знакомое: «...он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий её и верующий в неё, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью».

В характеристике Алёши Карамазова почти дословно воспроизведено то, что уже говорилось ранее в незаконченном предисловии к «Бесам».

Ради «скорого подвига» Алёша готов пожертвовать «даже жизнью». В свете версии Суворина / Z эти слова звучат многозначительно.

Правда, несколько дальше содержится намёк совершенно иного рода, указующий как будто на первую суворинскую версию (изложенную в его воспоминаниях): «Алёша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига»⁵³.

«Противоположная всем дорога» – это и есть «русский социализм». По-видимому, начиная роман, его автор ещё не остановился окончательно ни на одном из вариантов продолжения.

Алёше оставлялся шанс.

Казалось бы, оба предполагаемых варианта обладают примерно одинаковыми потенциальными возможностями. Но в романе имеется ещё одно (причём капитальное) указание на вероятность именно трагической развязки. Как ни странно, оно до сих пор не было учтено.

Это – эпитафия.

Диалог эпитафий

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода».

Эпитафией взяты слова Евангелия от Иоанна. Но если исходить только из текста романа, их смысл не вполне ясен.

«Эти слова, – пишут комментаторы Полного собрания сочинений Достоевского, – ... выражают надежду писателя на грядущее обновление и процветание России (и всего человечества), которое должно наступить вслед за всеобщим разложением и упадком»⁵⁴.

Что ж, это приемлемое, но, думается, далеко не достаточное объяснение.

⁵² Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 11. С. 303.

⁵³ Там же. Т. 14. С. 25.

⁵⁴ Там же. Т. 15. С. 523 (Примечания).

Во-первых, «разложение и упадок» (в том смысле, в каком их разумеют комментаторы) ещё не есть *смерть*, а скорее – некое неполноценное, ослабленное существование. Однако четвёртое Евангелие подразумевает не ослабление жизни, а её уничтожение, прекращение данной формы бытия. Падшее в землю зерно не «разлагается» и не «приходит в упадок», а – умирает: только смерть и ничто иное кладет начало новой, возродённой жизни. Поэтому «обновление» (и, если угодно, даже «процветание») мыслится именно как возродённое, а не преобразованное бытие.

Разумеется, вселенский смысл слов Евангелия от Иоанна бесконечно шире и глубже тех возможных аллюзий, которые применимы к каким бы то ни было частным ситуациям. Пшеничное зерно «достигает цели» лишь «смертью смерть поправ». Это – реальность Нового Завета. Однако в метафизическом смысле таким «зерном» можно почесть не только Алёшу Карамазова, но и самого автора романа, который на эшафоте *пережил* свою смерть и духовно воскрес.

Но воскресение требует искупительной жертвы.

Представляется, что эпиграф к «Братьям Карамазовым» относится не только к известному нам тексту романа, но и ко всей предполагаемой диалогии в целом. Тогда становится ясен его сокровенный смысл: гибель Алёши на эшафоте есть искупление. «Много плода» даётся гибелью главного героя⁵⁵.

Но если так, тогда эпиграф к «Братьям Карамазовым» вступает в сложные отношения с другим эпиграфом – к другому роману.

«Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесноватый».

Исцеление бесноватого есть *чудо*. Он внешним образом избавляется от своего внутреннего недуга. В том, что его оставляют бесы, нет его собственной, личной заслуги.

Бесы вселяются в нечистых животных – и последние гибнут. Это – языческое жертвоприношение.

Сюжет, который приводится в Евангелии от Луки, не имеет ничего общего с притчей, изложенной в Евангелии от Иоанна. Между тем цитаты из обоих источников – в контексте поздней романистики Достоевского – втягиваются в напряжённейший диалог: они не только дополняют, но и оспаривают друг друга.

«Россия выблевала вон эту пакость, которою её окормили, и уж, конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского»⁵⁶, – пишет Достоевский Майкову 9/21 октября 1870 года, объясняя идею будущего романа.

Что же, может быть, в Петре Верховенском и нет «ничего русского» (хотя это весьма сомнительно: ведь сам он – закономерное порождение русской жизни). Однако подобное утверждение уж никак не приложимо к Алёше Карамазову. Правда, то преступление, которое он собирается совершить, по своей идейной и юридической тяжести (и, если угодно, по своей «нерусскости») не идёт ни в какое сравнение с убийством Шатова: оно неизмеримо

⁵⁵ В тексте романа слова эпиграфа повторяются Зосимой. На вопрос Алёши, почему старец поклонился Мите, тот отвечает, что провидит его судьбу: «Послал я тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему. Но всё от Господа и все судьбы наши. (Далее следует текст эпиграфа. – *И.В.*) Запомни сие... Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок». Не исключено, что слова эпиграфа могут частично относиться и к Дмитрию Карамазову. Однако поскольку главным героем, как сказано в авторском предисловии, является Алёша и прямо к нему обращены слова «запомни сие», то, надо полагать, именно *его* судьбу предрекает Зосима. Знаменательно, что эпиграф повторяется при отсылке Алексея в мир.

⁵⁶ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 29. Кн. I. С. 145.

«страшнее». Но, согласно художественной логике обоих романов, вина «бесов» в «рядовом» преступлении перетягивает предполагаемую вину Алёши в преступлении экстраординарном.

Ибо нравственные истоки этих деяний различны.

Убийство Шатова есть результат расчёта, лжи, гнусной интриги. Его кровью хотят скрепить «наших». При этом убийцы если и рискуют, то относительно: во всяком случае, не жизнью (по законам Российской империи за уголовное убийство не назначалось смертной казни).

То, что, согласно версии Суворина / Z, должен был совершить Алёша, с точки зрения государства являлось прямым покушением на само государство: это была бы тячайшая, не заслуживающая ни малейшего снисхождения вина. Вина, требующая предельной кары. Но, как мы уже говорили, даже *такое* преступление не могло бы коренным образом изменить читательского отношения к главному герою «Братьев Карамазовых».

Так же как убийство Раскольниковым старухи-процентщицы не лишает его окончательно ни авторских, ни читательских симпатий.

Убийство всегда (кроме случая защиты *от* убийцы) отвратительно Достоевскому. И в плане этическом для него совершенно безразлично, кто является жертвой: Шатов, Алёна Ивановна или русский царь.

Алёна Ивановна и русский царь

Но в двух последних случаях (Алёна Ивановна и Александр II) присутствует некая общая черта.

Поступок Раскольникова есть такое же *теоретическое* преступление, как и цареубийство. Причём оба эти акта идейно бескорыстны (во всяком случае, в первом приближении).

И Раскольников, и, очевидно, будущий Алёша Карамазов разрешают себе «кровь по совести».

«Какой удар, бесценный Лев Николаевич, – пишет Страхов Толстому через несколько дней после удавшегося наконец покушения на русского царя. – ...Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царём в мире. *Теоретическое убийство*, не по злобе, не по реальной надобности, а потому что *в идее* это очень хорошо».

Это письмо написано примерно через месяц после другого послания, в котором Страхов извещал Толстого о смерти Достоевского. На сей раз имя Достоевского не упомянуто: однако проблема «Преступления и наказания» налицо.

«Нужны ужасные бедствия, – продолжает Страхов, – опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только цветочки»⁵⁷.

Удивительно: казнь российского императора вызывает у Страхова цепь ассоциаций, очень схожих с теми, какие возникают в эсхатологическом сне Раскольникова на каторге, после убийства им вдовы-чиновницы. То, о чём говорит Страхов, – это переключка с соответствующим местом «Преступления и наказания».

Убийство Алёны Ивановны было написано за несколько месяцев до первой попытки цареубийства. Всего же при жизни Достоевского их было шесть.

Эти попытки действовали на него угнетающе.

В возможной насильственной гибели монарха, «по доброй воле» освободившего двадцать пять миллионов подданных, он усматривал конкретное политическое зло.

⁵⁷ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870–1894. Санкт-Петербург, 1914. С. 268.

По мысли Достоевского, реформа 1861 года создала исторический прецедент исключительной важности. Она явила пример добровольного отказа от вековой исторической несправедливости, мирного разрешения грозящего страшными бедствиями социального конфликта. В этом смысле освобождение крестьян было как бы первым шагом к «русскому решению вопроса»: проведённая сверху акция *намекала* на возможность созидания такого миропорядка, который будет основан на справедливости – и только на ней.

Насильственная гибель Александра II, с личностью которого он связывал и крестьянское освобождение, и возможность дальнейших – не менее радикальных – реформ, такой исход мог бы, по его мнению, означать конец (или, по крайней мере, существенную отсрочку) его собственных глобальных предположений.

Тем знаменательнее, что совершить это должен был его любимый герой⁵⁸.

Небезынтересно отметить нервическую реакцию, которую вызвала предложенная нами версия у одного петербургского автора. «...И. Волгин в своём неумном желании сделать Алёшу революционером доходит до полной фальсификации...» «Здесь И. Волгина так высоко занесло, что обратно он так и не смог спуститься». «Здесь он окончательно смыкается с...». Сколь узнаваем этот *стилёк*, взращённый на ниве нашего репрессивного литературоведения. Не хотелось бы, пользуясь фигурами речи оппонента, обвинить его в «явной фальсификации»: предположим, что дело «всего лишь» в явной эстетической глухоте. Иначе невозможно объяснить ламентации относительно того, что автор «солидаризировался с народовольцами... воспевая их». Или – ещё замечательнее – будто он, автор, пытается уверить наивную публику, что жизнь «сделала писателя сочувствующим народо-вольцам», и т. д., и т. п. Все эти благоглупости рассчитаны исключительно на тех, кто не открывал настоящую книгу.

Вынуждены ещё раз повторить – как можно примитивнее и доходчивее: Достоевский ненавидел террор и не знал никаких ему оправданий. Но понимал также, что болезнь глубоко поразила Россию, захватив таких «чистых сердцем» юношей, как Алёша Карамазов. Скажем больше: предчувствие того, что в революцию ринутся в первую очередь идеалисты, – эта угадка *даёт ключ* к пониманию трагических потрясений XX века.

Наш оппонент спешит успокоить новое либеральное начальство (как прежде – с обратным знаком – успокаивал старое советское), донося ему, что Достоевский не имеет никакого касательства к проблемам русской революции («как будто у революции могут быть высшие нравственные цели», – брезгливо бросает автор, очевидно, не подозревая о том, что без наличия таковых ни одна Бастилия в мире не шелохнулась бы)⁵⁹.

«Бесы вышли из русского человека, – писал Достоевский Майкову в 1870 году, – и вошли в стадо свиней, т. е. в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых»⁶⁰.

Так не случилось.

⁵⁸ Так как действие второй части дилогии должно было разворачиваться в самом конце 70-х годов, понятно, что предполагаемое покушение Алёши могло бытти только на период продолжающегося царствования Александра II. Само собой разумеется, что покушение должно было окончиться неудачей: ведь не мог же Достоевский при ещё живом царе изобразить его гибель!

⁵⁹ Белов С. В. «Гений и злодейство – две вещи несовместные» // Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников. Санкт-Петербург, 1993. С. 14–19. См. также: Игорь Волгин. Возвращение билета. Парадоксы национального самосознания. Москва, 2004. С. 574.

⁶⁰ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 29. Кн. I. С. 145.

Жертва и искупление

К концу десятилетия обнаружилось, что русская революция не пошла по нечаевскому пути. Напротив: в рядах её приверженцев ещё резче обозначилась та самая «национальная черта поколения», которую он пророчески угадал десять лет назад.

Можно было изгнать бесов *из* русского человека. Но нельзя было изгнать *самого* русского человека.

Спасти себя мог только он сам. От русской революции уже нельзя было «отделаться» языческим жертвоприношением: утопив свиней в озере. Искупительная жертва Алёши Карамазова должна была знаменовать, что ради разрешения главного вопроса русской жизни – «что считать за правду» – на заклание приносятся избранные из избранных.

Эпиграф к «Братьям Карамазовым» вступал в тайное противоборство с эпиграфом к «Бесам».

Алёше Карамазову было суждено «перетащить на себе» исторический опыт двух последних десятилетий. Он мог обрести художественный авторитет не проповедью «евангельского социализма» (и вообще не проповедью: вроде той, какую он произносит у Илюшиного камня), а только делом.

Колю Красоткина и других «русских мальчиков» нельзя было уговорить. Но их ещё можно было *убедить* – ценой собственной гибели.

«А если умрёт, то принесёт много плода».

Смерть Алёши на эшафоте и должна была стать его *делом*.

Самое поразительное, что подобный исход мог быть одновременно и подтверждением другой романной версии – о «русском социалисте». Параллельные должны были в конце концов пересечься.

Предполагалось «безумное» художественное решение.

Алёша второго романа должен был умереть именно за ту идею, которую, согласно «сверхзадаче» этого романа, он призван был опровергнуть. Но такие идеи не опровергаются словом. С ними можно спорить только жизнью.

Как и Родион Раскольников, Алексей Карамазов проводил эксперимент на себе.

Для развенчания теории Раскольникова потребовалась судьба Раскольникова. Для преодоления идеи Алёши Карамазова (идеи, приведшей его на эшафот) потребовалась жизнь Алёши Карамазова.

Это было доказательством от противного.

И тут мы вновь возвращаемся к записи в последней записной книжке – *о крови*.

«...Крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он – закон крови на земле».

Казалось бы, запись бесспорна: именно революционеры проливают чужую кровь. Следовательно, «крепко» оказывается не у них.

Но – «жертвовать собою и всем для правды – национальная черта поколения». К концу семидесятых годов эта черта обозначилась как массовая.

Были явлены вопросы в высшей степени мучительные и трудные – именно для моральных оценок. Тот, кто проливал чужую кровь, одновременно проливал и свою, совершенно сознательно обрекая себя на гибель (этот дух жертвенности характерен почти для всех главных деятелей «Народной воли»).

Иди и гибни безупрёчно.

Умрёшь не даром – дело прочно,

Когда под ним струится кровь, —

так предвосхитившие события некрасовские строки неожиданно перекликаются со словами Достоевского о «законе крови на земле».

Власть тоже проливали чужую кровь: следовательно, «крепко» оказывалось не у неё. «Закон крови» в России был подобен заколдованному кругу.

Этот круг следовало разорвать.

Алёша Карамазов, всходя на эшафот, собственной кровью должен был освятить иной – бескровный путь: путь «русского евангельского социалиста». Его гибель явилась бы двойным искуплением.

Возникает вопрос: стоит ли так подробно останавливаться на всех этих несуществующих материях? Ведь ни один из вариантов второго романа так и не получил художественного воплощения. И можно лишь гадать, какое продолжение (или завершение) обрела бы жизнь Алёши Карамазова и других героев, будь этот роман написан. Может быть, Алёша мирно бы закончил свои дни в монастыре, окружённый воспитуемыми и наставляемыми им детьми, как это некогда и предполагалось. Поэтому не проще ли говорить о том, что есть, нежели поддаваться неверному соблазну догадок и навязывать *несозданному* участь десятой (сожжённой) главы «Евгения Онегина», – с той разницей, что последняя (теоретически) ещё может быть когда-нибудь восстановлена, в то время как ненаписанное нельзя восстановить никогда?

Всё это так. И мы не стали бы вдаваться в рискованную область гадательного и неизвестного, если бы к этому не подвигал нас сам Достоевский.

Второй «главный» роман отбрасывает незримую тень на первый, и в этой тени – не только сотворённые герои «Братьев Карамазовых», но и сам сотворивший их автор.

Естественный отбор

Итак, кажется несомненным, что замыслов «главного» романа было несколько и что они в основном возникли ещё до начала писания. Но столь же несомненно, что события 1879–1880 годов были способны существенным образом трансформировать эти планы, ослабить одни сюжетные линии и усилить другие, отфильтровать варианты и резко повысить шансы одного из них.

Происходит своего рода естественный отбор.

Думается, что к зиме – весне 1880 года, если не окончательно, то, во всяком случае, более подробно, чем остальные, отрабатывается версия Суворина / Z: в мае она попадает в «Новороссийский телеграф»⁶¹¹⁴⁸⁶. Она могла соединять в себе элементы различных сюжетов (в том числе и «детскую» линию романа). Но центральное место, по-видимому, должна была занять будущая драма Алёши.

Происходит совмещение двух разнородных планов, их взаимопроникновение.

С одной стороны, Алёша «главного» романа воплощал в себе идеальный порыв русской революции, с другой – действовал согласно её реальной исторической логике.

При столь очевидной противоречивости этого предполагаемого персонажа он сохранял глубокое внутреннее единство. В младшем из Карамазовых, старающемся о мировой

⁶¹ Не содержится ли намёка на знакомство с этой версией в следующих словах Петерсена: «Жалеете ли вы, читатель, что этот роман никогда не будет написан Достоевским? Откровенно сказать, я не жалею; я убеждён, что это, наверное, вышел бы плохой роман, нисколько не способный помочь разобраться в окружающей нас путанице и раздражающем всех хаосе кровавого сентиментализма»¹⁴⁸⁶.

¹⁴⁸⁶ Литературный журнал. 1881. № 7. Стб. 609. Кстати, Алексей Фёдорович «второго» романа должен был, если верить «Новороссийскому телеграфу», стать сельским учителем. Сельским учителем был одно время и стрелявший в царя А. Соловьёв.

гармонии и одновременно – ради всё той же гармонии – разрешающем себе «кровь по совести», был схвачен момент истины. В Алёше – подвижнике и цареубийце – проступали два лика русской революции.

Понятно, почему Суворин никогда не предал гласности то, что он недвусмысленно зафиксировал в своём дневнике. Обнародование версии о «политическом преступлении» (и тем более расшифровка характера этого преступления) – вещи для него идеологически недопустимые⁶². Да и столичная цензура вряд ли осталась бы равнодушной к сообщению о том, что покойного автора «Братьев Карамазовых» посещали столь рискованные сюжеты. После 1 марта 1881 года упоминание об этом делалось и вовсе неуместным.

Между тем подобный исход романа естествен для Достоевского. Художник крайностей, он не мог удовольствоваться «рядовым» политическим преступлением. Ему было необходимо самое тяжкое (но, заметим, для 1879–1880 годов – *типичное*).

Ещё раз вспомним приведённую выше запись: *о крови*.

⁶² Это ещё один аргумент в пользу того, что автором статьи в «Новороссийском телеграфе» (Z-м) был *не* Суворин. Если, как пишет Благой, версию о цареубийстве Суворин «не решился доверить... даже дневнику» (и это через много лет!), трудно представить, чтобы он отважился на столь сенсационное (пусть даже и анонимное) заявление в печати.

Глава III. Вера Засулич и старец Зосима

Выстрел в градоначальника

31 марта 1878 года в переполненном зале Петербургского окружного суда слушалось дело по обвинению дочери капитана Веры Ивановны Засулич, покушавшейся на жизнь петербургского градоначальника генерал-адъютанта Фёдора Фёдоровича Трепова.

Это было первое (и последнее) дело такого рода, доверенное суду присяжных: оно намеренно рассматривалось как уголовное.

Председательствовал на суде добрый знакомый Достоевского Анатолий Фёдорович Кони. На почётных местах за судьями поместились первые сановники империи: лицейский товарищ Пушкина, а ныне государственный канцлер восьмидесятилетний князь Горчаков, статс-секретарь Сольский, высшие чины Министерства юстиции, сенаторы...

Достоевский сидел в ряду, отведённом для прессы.

В преступлении Засулич был нравственный акцент, не могущий не взволновать автора «Преступления и наказания»: она мстила Трепову за его приказ высечь политического заключённого Боголюбова. Она подняла руку на человека, вступившись *за* человека.

Молодая женщина (ей было двадцать восемь лет) вступилась не за своего жениха или возлюбленного (так подумали вначале: это было бы понятно), не за собственную честь или честь своих близких, а за лицо, абсолютно ей незнакомое. Она вступилась *за принцип*.

24 января 1878 года, в десять часов утра, Засулич явилась в приёмную к градоначальнику. На ней была широкая чёрная тальма без рукавов: в её складках скрывался шестизарядный револьвер. Генерал начал обходить просителей (их было человек двенадцать) – первой стояла Засулич. Трепов принял прошение, спросив о чём оно; затем обратился к следующей просительнице с тем же вопросом. Старушка не успела ответить: раздался выстрел.

Засулич стреляла в упор, с расстояния полушага «из револьвера, – как сказано в обвинительном акте, – заряженного пулями большого калибра»⁶³. Трепов взялся за бок и начал падать; покушавшуюся схватили.

На суде А. Ф. Кони допрашивал свидетеля – майора Курнеева; Достоевский слышал весь диалог.

«В<опрос>. Боролась с вами подсудимая?

О<ответ>. Нет.

В <опрос>. Делала она движение, чтоб выстрелить второй раз?

О<ответ>. Нет, у неё не было револьвера, она его бросила.

В<опрос>. Так что, она выстрелила только один раз?

О<ответ>. Да, один раз»⁶⁴.

Итак, произведя выстрел, Засулич отбросила пистолет в сторону. Когда А. Ф. Кони спросил её, желала ли она убить Трепова или только ранить, она отвечала, что это ей было всё равно: она лишь хотела «показать этим, что нельзя так безнаказанно надругаться над человеком»⁶⁵.

(Дубровин уже подходит к вопросу *как практик*: он считал, что покушение не удалось по чисто техническим причинам. «Вера Ивановна Засулич, – писал он в изъятых у него при аресте «Записках русского офицера-террориста», – тоже напрасно выбрала револьвер

⁶³ Кони А. Ф. Воспоминания о деле Веры Засулич. Москва, 1933. С. 104.

⁶⁴ Там же. С. 108.

⁶⁵ Там же. С. 139.

системы “бульдог” среднего калибра... Если приходится погибать нашим дорогим товарищам-социалистам, то пусть они погибают, производя, насколько только возможно, наибольший урон в рядах нашего бесчеловечного, дикого и крупного врага»⁶⁶.)

Выстрел Засулич был преступлением *идеологическим*.

Почти все убийства и самоубийства в романах Достоевского – идеологичны.

Некоторые моменты этого процесса (в частности, поведение председателя суда, речи сторон и т. д.) отзовутся впоследствии в «Братьях Карамазовых». Но нас пока интересует другое.

Нас интересует приговор.

Приговор был беспрецедентен: общество (в лице присяжных) поквиталось с тяжёлым самодуром – полновластным хозяином столицы. По негодующему слову Каткова, этот процесс обратился в «дело петербургского градоначальника Трепова, судившегося по обвинению в наказании арестанта Боголюбова»⁶⁷.

Большинство присутствовавших были уверены, что присяжные вынесут обвинительный вердикт. Один из свидетелей (буквальных: он выступал свидетелем по делу) вспоминает: «Кони среди воцарившейся мёртвой тишины молча просмотрел первую страницу, медленно перевернул её, перейдя глазами на вторую, и... слышно было, как зал удручённо вздохнул. У меня тоже болезненно заныло сердце. Неужели наши опасения оправдались и Засулич признана виновною?»⁶⁸

Вот та же сцена, увиденная с другой точки, на сей раз – глазами самого председателя суда: «Они (присяжные. – *И.В.*) вышли, теснясь, с бледными лицами, не глядя на подсудимую... Настала мёртвая тишина... Все притаили дыхание... Старшина дрожащею рукою подал мне лист... Против первого вопроса стояло крупным почерком: “Нет, не виновна!”»⁶⁹

Оправдание Засулич было публичной пощёчиной правительству: суду присяжных такого не могли простить никогда.

«Это самый счастливый день русского правосудия!» – воскликнул один из присутствовавших на процессе сановников, на что Кони мрачно возразил: «Вы ошибаетесь, это самый печальный день его»⁷⁰. Он оказался прав: вскоре после оправдания Засулич все дела, связанные с покушением на должностных лиц, были изъяты из ведения суда присяжных. Правительство повело целенаправленный натиск на «суд общественной совести».

«Московские ведомости» (да и не только они) считали, что едва ли не всё зло на Руси пошло от этого скандального вердикта.

«Передавая лист старшине, я взглянул на Засулич... – вспоминает Кони. – То же серое “несуразное” лицо, ни бледнее, ни краснее обыкновенного; те же поднятые кверху, немного расширенные глаза... “Нет!” – провозгласил старшина, и краска мгновенно покрыла её щеки... “не вин...”», но далее он не мог продолжать».

Достоевский был свидетелем того неистового восторга, который охватил публику после объявления приговора.

«Крики несдержанной радости, – продолжает Кони, – истерические рыдания, отчаянные аплодисменты, топот ног, возгласы: “Браво! Ура! Молодцы! Вера! Верочка! Верочка!” – всё слилось в один треск, и стон, и вопль. Многие крестились; в верхнем, более демократи-

⁶⁶ Каторга и ссылка. 1929. № 5. С. 72.

⁶⁷ Сборник передовых статей «Московских ведомостей» (1878). Москва, 1897. С. 161.

⁶⁸ Глаголь С. Процесс первой русской террористки // Голос минувшего. 1918. № 7–8. С. 154.

⁶⁹ Кони А. Ф. Указ. соч. С. 215.

⁷⁰ См.: Гессен И. В. Судебная реформа. Санкт-Петербург, 1904. С. 167.

ческом отделении для публики, обнимались; даже в местах за судьями усерднейшим образом хлопали...»⁷¹

Интересно, что делал в этот момент Достоевский? Как отнёсся он к приговору присяжных?

Но прежде: как отнеслось к нему русское общество?

Многие не могли поверить в оправдательный приговор, полагая, что вести о нём – первоапрельская шутка.

Получив петербургские газеты, полные ликующих откликов на решение присяжных (такова была единодушная реакция либеральной прессы), Катков сообщил своим читателям, что в Москву прибыл «весь сумасшедший дом петербургской печати»⁷². Позднее он не упустит случая напомнить, что путь к 1 марта 1881 года был открыт 31 марта 1878-го.

В своих позднейших воспоминаниях издатель консервативного «Гражданина» – князь В. П. Мещерский – писал: «Торжественное оправдание Веры Засулич происходило как будто в каком-то ужасном кошмерическом сне... Никто не мог понять, как могло состояться в зале суда самодержавной империи такое страшное глумление над государевыми высшими слугами и столь наглое торжество крамолы... Так, промеж себя, некоторые русские люди говорили, что если бы, в ответ на такое прямое революционное проявление правосудия, Государь своею властью кассировал решение суда, и весь состав суда подверг изгнанию со службы, и проявил бы эту строгость немедленно и всенародно, то весьма вероятно развитие крамолы было бы сразу приостановлено»⁷³.

Спустя семь лет Победоносцев, узнав о намерении Александра III назначить Кони на должность обер-прокурора кассационного департамента Сената, предостерегал своего бывшего воспитанника от этого шага, ссылаясь на роль Кони в деле Засулич⁷⁴.

Катков, Мещерский, Победоносцев – их мнение было единым, их негодование – искренним и неподдельным. Все они исходили не только из своих собственных убеждений, но и из соображений высшей государственной целесообразности.

Эти люди – круг Достоевского. Во всяком случае, все они могли считать и, очевидно, считали его «своим». И вправе были бы требовать от него единомыслия.

Взгляд на это дело Достоевского решительно не похож ни на возмущение охранителей, ни на умиление либералов.

Он вообще ни на что не похож.

Ибо Достоевский «изымает» дело из сферы формально-юридической и переносит его на какую-то совсем иную почву.

Он не высказал своего мнения публично: «Дневник писателя» в это время уже не выходил. Но оно всё-таки известно.

«Иди, ты свободна...»

Вечером 1 апреля Г. К. Градовский (Гамма), автор знаменитого фельетона о процессе, который на следующее утро должен был появиться в «Голосе» («“Голос”, – жалуется Победоносцев наследнику престола, – разразился дикою пляской восторга по случаю оправдания Засулич»⁷⁵), посетил председателя Комитета министров. «Неужели вы за оправдание?» – поразился Валуев. – «Не я один, – отвечал журналист. – ...Возле меня сидел Достоевский,

⁷¹ Кони А. Ф. Указ. соч. С. 215–216.

⁷² Московские ведомости. 1878. 3 апреля.

⁷³ Мещерский В. П. Мои воспоминания. Часть II. Санкт-Петербург, 1898. С. 404–405.

⁷⁴ См.: К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1. Полутом 2. Москва, 1925. С. 496.

⁷⁵ Письма К. П. Победоносцева к Александру III. Москва, 1925. С. 256.

и тот признал (замечательно здесь «и тот». – *И.В.*), что наказание этой девушки неуместно, излишне... Следовало бы выразить, – сказал он: – «Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз». – «Удивительно», – процедил сквозь зубы Валуев»⁷⁶.

Министра можно понять: «приговор» Достоевского не имеет аналогов в мировой юридической практике (не парафраз ли евангельского: «Иди и впредь не греши»?). Между тем в словах, сказанных им Градовскому, заключалась идея, вынашиваемая много лет, не прошедшая бесследно для «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых».

«Иди, ты свободна...» – произносится ещё *до* объявления оправдательного вердикта. «Нет у нас, кажется, такой юридической формулы, – добавил Достоевский, – а чего доброго, её теперь возведут в героини»⁷⁷.

Нет юридической формулы; та же «формула», которую предлагает Достоевский («Иди, ты свободна, но не делай этого в другой раз»), неприемлема *для государства*. Но, может быть, то, что предлагается, осуществимо просто *среди людей*, связанных какой-то иной, негосударственной общностью?

Ложь в постановке вопроса

Вопрос для Достоевского заключается не в большей или меньшей целесообразности существующих правовых норм, а в несоответствии судебной процедуры сути дела. Ибо сам суд основан на внутренней неправде, на разрыве между государственной нравственностью и моралью лица.

...Один из известнейших русских адвокатов В. Д. Спасович не без труда выиграл в петербургском суде дело, возбуждённое против его подзащитного Кроненберга. Кроненберг подвергал жестоким телесным наказаниям собственную дочь. Спасович употребил весь свой блистательный талант (черты этого «прелюбодея мысли» сказались в образе адвоката Фетюковича в «Братьях Карамазовых»), чтобы выгородить своего клиента.

Никто из современников Достоевского, пришедших в негодование от исхода этого дела, не почувствовал столь остро, как он, нравственную невыносимость такого положения, когда вся феерическая мощь адвокатского искусства была брошена против маленькой шестилетней девочки – с одной лишь целью: уличить дочь и оправдать отца.

Достоевский буквально уничтожил Спасовича (естественно, что у него не нашлось добрых слов и для Кроненберга). Однако нарисовав картину, по своей разоблачительной силе не идущую ни в какое сравнение с теми сентенциозными общими местами, какие выставляло обвинение, он вовсе не требует наказания, предусмотренного законом.

Ситуация, при которой дочь может *засудить* родного отца, столь же неприемлема для Достоевского, как и тот факт, что отец может безнаказанно истязать родную дочь. Здесь крылась какая-то изначальная фальшь: то, что он называл «ложью в постановке вопроса». И не только потому, что в систему глубоко интимных, родственных отношений грубо вторгается государство (пусть даже с благородной целью – защитить слабейшего). Драматизм положения заключается в том, что любой обвинительный приговор автоматически отнимал у ребёнка отца (пусть даже такого отца), разбивал семью и обрекал *выигравшую* дело жертву на полное сиротство (у девочки не было матери). А между тем суд не имел выбора: русское законодательство не предусматривало в этом (да и в иных) случае какую-либо форму нравственного осуждения.

«Нет у нас, кажется, такой юридической формулы».

⁷⁶ Градовский Г. К. Итоги. Киев, 1908. С. 8–9.

⁷⁷ Там же. С. 18.

Государственный человек Валуев по своей занятости, очевидно, не читал «Дневника писателя»: иначе бы, пожалуй, он смог подметить, что в словах Достоевского о Засулич содержится та же самая «неформальная формула», которая последовательно применялась автором «Дневника».

Отделение осуждения от наказания – вещь практически невозможная. Однако именно так ставит вопрос Достоевский.

Так у него всегда: не совершенствование «системы», не улучшение отдельных её частей, а коренное преобразование; внесение «чисто человеческого» (можно сказать – исключительно человеческого) в круг понятий надличностных и общих. Мир холодных абстракций «утепляется», они обретают новый (максимально приближенный к человеку) образ. Бесплезно оценивать степень его «прогрессивности» отношением к тем или иным правовым нормам или юридическим институтам. То, о чём он говорит, «выше» права: здесь не действует никакой иной закон, кроме закона нравственного.

Сказанное им на процессе Засулич имело своё продолжение.

Ещё один «гордый человек»

4 ноября 1880 года в Петропавловской крепости были повешены двадцатичетырёхлетний Андрей Пресняков и двадцатисемилетний Александр Квятковский.

Самому Достоевскому оставалось жить менее трёх месяцев.

Он записывает в последней тетради: «Казнь Квятковского, Преснякова и помилование остальных. *NB!* Как государство – не могло помиловать (кроме воли монарха). Что такое казнь? – В государстве – жертва за идею. Но если Церковь – нет казни»⁷⁸.

Проще простого: Достоевский сторонник церковного суда. И следовательно, не кто иной, как религиозный фанатик, который, по образной подсказке одного эссеиста, предстает перед нами «злым, фанатичным, средневековым монахом с византийским крестом – словно бичом – в руке»⁷⁹.

Инквизиторы (и великие, и «рядовые») обрекают на казнь. Причём как раз именем Церкви. «Нет казни», – говорит Достоевский.

В записи о Квятковском и Преснякове звучит что-то уже знакомое.

...В монастыре, в келье старца Зосимы, идёт любопытный разговор. Выслушав рассуждение отца Паисия о том, что в противоположность римско-католической идее – «по русскому пониманию» – «государство должно кончить тем, чтоб сподобиться стать единственно лишь Церковью, и ничем иным», помещик Миусов с тончайшей иронией замечает, что всё это «что-то даже похожее на социализм» и что если всё это принять всерьёз, то «Церковь теперь... будет судить уголовщину и приговаривать розги и каторгу, а пожалуй, так и смертную казнь».

Тут в разговор вступает Иван Фёдорович Карамазов. «Не смигнув глазом», он спокойно разъясняет Миусову, что это отнюдь не так, поскольку не будет нужды прибегать к «механическим» мерам исправления преступников, когда сам взгляд на преступление в корне изменится.

Заметим: мысль эту Достоевский доверяет скептику и богоборцу, молодому отрицателю «из новейших». Впрочем, как и Легенду (поэму) о великом инквизиторе.

Но ещё удивительнее другое: Ивана Карамазова вдруг поддерживает сам Зосима.

⁷⁸ Литературное наследство. Т. 83. Москва, 1971. С. 672–673.

⁷⁹ Цвейг С. Собрание сочинений. Т. 7. Москва, 1929. С. 172.

«Вот если бы, – говорит старец, – суд принадлежал обществу как Церкви, тогда бы оно знало, кого воротить из отлучения и опять приобщить к себе»⁸⁰.

Обществу как Церкви.

Действительно: о какой церкви говорит Достоевский? Может быть, как это и подобает «средневековому монаху», он понимает уже готовую церковную организацию, её отлаженный столетиями механизм, ту или иную форму современной ему церковной иерархии?

Но, как сказано в той же последней тетради: «Церковь в параличе с Петра Великого»⁸¹. Всё, что она может, – это совершить казённый обряд, напутствуя уводимого на казнь преступника. «Церковь в параличе» – неужели, сознавая это, Достоевский желает, чтобы государство обратилось в *такую* церковь и тем самым как бы само омертвело, впало в глубокое оцепенение?

Странное и, на первый взгляд, необъяснимое противоречие. Однако повременим объяснять его очередным парадоксом автора «Карамазовых».

Вот ещё одна запись: «Церковь – весь народ...»⁸². «Весь народ», то есть не учреждение, не институт, отделённый от народа и стоящий над ним, а некая духовная общность, полностью с этим народом совпадающая.

В этом смысле «народ» и «церковь» – синонимы. Последняя становится собирательным именем народной совести.

В своём последнем «Дневнике писателя» он говорит, что главная ошибка русских интеллигентных людей в том, «что они не признают в русском народе Церкви». «Я не про здания церковные теперь говорю и не про причты, – добавляет Достоевский, – я про наш русский “социализм” теперь говорю (и это обратно противоположное Церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), – цель и исход которого всенародная и вселенская Церковь, осуществлённая на земле, поколику земля может вместить её»⁸³.

Итак, «русский социализм» есть «вселенская церковь», иными словами – достижение такого нравственного состояния, когда все будут поступать *по совести*.

Но вот скиталец, изгой, перекасти-поле – Алеко Пушкинской речи, – ведь и ему «необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится»⁸⁴. Не жаждет ли и этот Алеко стать членом некоей «вселенской Церкви»?

Пожалуй что и жаждет; правда, пока у него слабо получается...

Ему, обагрившему свои руки кровью, говорят:

Оставь нас, гордый человек.

Мы дики; нет у нас законов.

Мы не терзаем, не казим.

У цыган «нет казни» – ибо это ещё *до* государства. У Церкви тоже «нет казни» – ибо это уже *после* государства.

Но само государство – «терзающее и казнящее» – не тот же ли «гордый человек» и не к нему ли тоже обращён вопль о смирении?

⁸⁰ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 14. С. 56, 58–60.

⁸¹ Биография... С. 356 (вторая пагинация).

⁸² Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

⁸³ Дневник писателя. 1881. Январь. Первый корень...

⁸⁴ Дневник писателя. 1880. Август. Пушкин (очерк).

...1 сентября 1866 года приговорённый к повешению Дмитрий Каракозов решился просить царя о помиловании. Его письмо заканчивалось так: «А теперь, Государь, прошу у вас прощения как христианин у христианина и как человек у человека»⁸⁵.

Александр II, кротко улыбаясь, выслушал эти слова, прочитанные ему министром юстиции, и – с сожалением развёл руками.

На следующий день, 2 сентября, председатель Верховного уголовного суда семидесятисемилетний князь Гагарин (он, кстати, в 1849 году вёл следствие по делу Достоевского и других петрашевцев) вызвал к себе осуждённого и сказал: «Каракозов, Государь Император повелел мне объявить вам, что Его Величество прощает вас как христианин, но как государь – простить не может. Вы должны готовиться к смерти...»⁸⁶

3 сентября Каракозов был повешен.

Нравственность во множественном числе

В той воображаемой теоретической ситуации, которая обсуждается в келье старца Зосимы, подобный исход невозможен. «Там» нет двух нравственностей: для государства и для частного лица. Поступок государства, противоречащий совести, не сможет прикрыться государственным авторитетом, ибо «там» только совесть является критерием любого – в том числе общественного – интереса.

Осуждённые по «делу шестнадцати» на сей раз избавили императора от душевной раздвоенности: ни Пресняков, ни Квятковский не подали прошения о помиловании.

Между тем, констатируя, что государство «не могло помиловать» приговорённых, Достоевский делает существенную оговорку: «кроме воли монарха». То есть в иных случаях монарх имеет право быть более христианином, нежели государем.

Александр II думал иначе.

И всё же «помилование остальных» для Достоевского – факт громадной величины. Исходя из него, он делает поистине глобальные обобщения.

«Церковь и Государство нельзя смешивать, – продолжает свою запись Достоевский. – То, что смешивают, – добрый признак, ибо значит клонит на Церковь»⁸⁷.

Это было самообольщением. Казнь всего лишь двух отнюдь не свидетельствовала об эволюции российского самодержавия в том направлении, которое указывал ему Достоевский. Дело обстояло гораздо проще. В конце 1880 года, в период неустойчивости власти, правительственного лавирования и лорис-меликовских заигрываний, «помилование остальных» – лишь тактический ход: нельзя было «сверх меры» дразнить общество виселицами⁸⁸¹⁴⁸⁷.

«В Англии и во Франции и не задумались бы повесить», – заканчивает свою запись Достоевский. Именно в таком виде она была опубликована в 1883 году – в первом посмертном издании его сочинений.

⁸⁵ Покушение Каракозова. Стенографический отчёт. Т. 2. Москва, 1928. С. 284.

⁸⁶ Шилов А. А. Каракозов и покушение 4 апреля 1866 года. Петербург, 1920. С. 47.

⁸⁷ Биография... С. 355 (вторая пагинация).

⁸⁸ 31 октября 1880 года Лорис-Меликов направил в Ливадию следующую шифрованную телеграмму: «Прошу доложить Его Величеству, что исполнение в столице приговора одновременно над всеми осуждёнными произвело бы крайне тягостное впечатление среди господствующего в огромном большинстве общества благоприятного политического настроения»¹⁴⁸⁷. Поэтому Лорис-Меликов рекомендовал ограничиться казнью двоих.

¹⁴⁸⁷ Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 гг. Москва, 1964. С. 188–189.

Но полный текст этой записи звучит несколько иначе: «Не задумались бы повесить – Церковь и монарх во главе»⁸⁹. Издатели несколько сократили фразу – по соображениям вполне понятным.

Кажется, редакторы не столько опасались оскорбить иностранную державу, сколько устраняли более близкие политические аллюзии: как-никак за два года русский царь «не задумался» повесить двадцать человек. При этом церковь не промолвила ни единого слова в защиту казнимых.

Достоевскому казалось, что «помилование остальных» не столько следствие некоторой – не без подсказки – высочайшей задумчивости, сколько факт исторический. Он видит в нём доброе предзнаменование. Зыбкость правительственной политики принимается им за колебание нравственное.

В своей предсмертной записной книжке он ведёт жестокий спор с профессором К. Д. Кавелиным. Спор о том, что такое нравственность. Кавелин утверждал, что последняя определяется очень просто: верностью своим убеждениям.

«Сжигającego еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями, – возражает он Кавелину. – Это лишь честность (русский язык богат), но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос. Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, – нет. Ну так значит сжигание еретиков есть поступок безнравственный»⁹⁰. (Уж не отсюда ли помянутый выше эссеист взял своего «злого, фанатичного, средневекового монаха»?)

Самодержавное государство не есть «нравственный человек», ибо оно – согласно самому искреннему убеждению – сжигает «своих» еретиков. «Христос» Достоевского не обрёл бы на «расстреляние» петрашевцев, не повесил бы Дубровина, Квятковского и Преснякова.

Мораль, исповедуемая Достоевским, не совпадает с моралью, действующей *применительно к случаю* и извиняющей собственный прагматизм ссылкой на человеческое несовершенство.

Он не желает принимать этих ссылок.

Он не желает принимать разрыва, «ножниц» между тем вероисповеданием, на которое государство вынуждено указывать как на свою собственную религию, и реальной государственной практикой, не имеющей ничего общего с главными догматами этой официальной веры. Поэтому «церковь» Достоевского нимало не похожа на существующую историческую Церковь⁹¹, которая сама является одним из институтов государства и безоговорочно освящает любые его поступки.

В своём уповании Достоевский минует все посредующие звенья. Он связует отдалёнейшую «надысторическую» перспективу с «живой жизнью». Это, пожалуй, одна из самых поразительных черт его мирозерцания. И отстаивается она с поразительным упорством. «Что правда для человека как лица, то пусть остаётся правдой и для всей нации»⁹², – сказано в «Дневнике писателя» 1877 года. Нравственный закон един.

⁸⁹ Ср.: Биография... С. 355 (вторая пагинация) и Литературное наследство. Т. 83. С. 673.

⁹⁰ Биография... С. 371 (вторая пагинация).

⁹¹ Это довольно-таки существенный момент. Как справедливо замечено, говоря о вселенской церкви и православии, Достоевский «ни слова не упоминает о духовенстве, как будто бы действительной православной церкви вовсе не существует» (Радлов Э. Л. Вл. Соловьёв и Достоевский // Достоевский. Статьи и материалы. Петроград, 1922. С. 161). Правда, однажды упоминает (в записной тетради 1875–1876 гг.): «Народ у нас ещё верует в истину... если только наши «батюшки» не ухлопают нашу веру окончательно» (Литературное наследство. Т. 83. С. 394).

⁹² Дневник писателя. 1877. Февраль. Меттернихи и Дон-Кихоты...

Колебания перед пролитием крови

Слова «кровь» и «нравственность» часто стоят у Достоевского рядом.

На процессе Засулич слово «нравственность» повторялось неоднократно. Особенно часто прибегал к нему представитель обвинения – товарищ прокурора К. И. Кессель. «Я ни одной минуты не могу представить себе, – заявил он в своей обвинительной речи, – чтобы Засулич считала те средства, к которым она прибегала, нравственными...»⁹³.

Выяснилось, однако, что у прокурора и обвиняемой понятия о нравственности существенно различны. В глазах подсудимой нравственная уязвимость преступления искупалась готовностью заплатить за него собственной жизнью. Сама она ожидала, «что её повесят после комедии суда»⁹⁴.

«...Я решилась, – сказала на суде Засулич, – хоть ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным в безнаказанности, так ругаясь над человеческой личностью... (В. И. Засулич была настолько взволнована, – бесстрастно фиксирует стенограмма, – что не могла продолжать. Председатель пригласил её отдохнуть и успокоиться.) ...Я не нашла другого способа... Страшно поднять руку на человека, но я находила, что должна это сделать»⁹⁵.

Достоевский хорошо запомнил эти слова. Почти через два года он, вечно жалующийся на память и забывающий имена своих героев, цитирует обвиняемую – по смыслу совершенно точно.

В своём споре с Кавелиным он пользуется Засулич как аргументом.

«Засулич, – записывает Достоевский, – “тяжело поднять руку пролить кровь”, – это колебание было нравственнее, чем само пролитие крови»⁹⁶ (то есть чем поступок, соответствующий убеждениям).

Душевные терзания Родиона Раскольникова – при всей несопоставимости мотивов – тоже «нравственнее» его верности собственной теории: недаром он более «любопытен» Достоевскому, когда *сомневается*, а не когда *исполняет*.

Нерешительность самодержавия, казнящего «только» двух и милующего остальных, нерешительность, проистекающая исключительно из соображений государственной целесообразности, – внутренне аморальна. Колебание Веры Засулич, страшящейся поднять руку на человека только потому, что он человек, – нравственно по своей природе.

Достоевский пытается уравнивать эти величины, но – безуспешно. Засулич – одна! – «перевешивает» государство, которое вовсе и не думает обращаться в «церковь».

Любопытно бы знать: высказывал ли Достоевский своё мнение о деле Засулич Каткову или Победоносцеву? Скорее всего нет: он никогда не был с ними особенно откровенен (по его собственным словам, «наблюдал тактику»). Но об этом ещё придётся говорить. Здесь же коснёмся другого вопроса – правда, достаточно гадательного. По смерти Достоевского он приходил в голову многим.

Лучшая лекция Владимира Соловьёва

Вопрос таков: как повёл бы себя автор «Братьев Карамазовых» *после* 1 марта 1881 года? Мнение о том, что он горячо бы одобрил образ действий нового царствования и даже стал бы его официальным идеологом, встречается не столь уж редко.

⁹³ См.: Кони А. Ф. Указ. соч. С. 158–159.

⁹⁴ Вера Засулич и народовольцы в воспоминаниях Анри Рошфора // Голос минувшего. 1920–1921. С. 86.

⁹⁵ Кони А. Ф. Указ. соч. С. 139.

⁹⁶ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

Не будем пока оспаривать эту – более чем сомнительную – точку зрения. Остановимся только на одном пункте: как (в свете того, что о нём известно) отнёсся бы Достоевский к казни первомартовцев?

Желябов, Перовская, Кибальчич, Т. Михайлов и Рысаков были повешены 3 апреля 1881 года. При этом в первый и последний раз за весь XIX век в России была казнена женщина.

28 марта, в день, когда Особое присутствие правительствующего Сената должно было вынести приговор, двадцатисемилетний Владимир Сергеевич Соловьёв читал лекцию в зале Кредитного общества. Тема лекции была достаточно отвлечённой: «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса».

Владимир Соловьёв – один из немногих, с кем Достоевский был духовно близок в свои последние годы. Кажется, у автора «Карамазовых» была некоторая слабость к Соловьёву. Лицо молодого философа, по словам Анны Григорьевны, напоминало её мужу любимую им картину «Голова молодого Христа» Аннибале Карраччи. Духовный облик Владимира Соловьёва, согласно преданию, отразился в любимом герое Достоевского – Алёше Карамазове.

Молодёжь ломилась на его лекции: будущий автор «Оправдания добра» входил в моду.

28 марта 1881 года послушать Соловьёва явились общие друзья его и Достоевского. Приехала и Анна Григорьевна – в трауре.

Очевидцы вспоминают, что Владимир Соловьёв взошёл на кафедру «высокий, тонкий, ещё бледнее обыкновенного». Его, как всегда, слушали внимательно. Но тишина стала мёртвой, когда от высоких материй молодой философ перешёл к тому, о чём тайно думали все.

«Сегодня, – сказал Соловьёв, – судятся и, вероятно, будут осуждены убийцы Царя на смерть. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признаёт двух правд».

Зал замер. В стране, где вот уже целый месяц не смолкали призывы к беспощадной расправе с цареубийцами, никто ещё не осмеливался публично выступить с таким, по-видимому, безумным предложением⁹⁷.

«Не от нас зависит решение этого дела, – продолжал Владимир Соловьёв, – не мы призваны судить... но если государственная власть отрицается от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы выйдем, отстранимся, отречёмся от неё».

Далее произошло то, что, вероятно, должно было напоминать сцену в зале суда после оправдания Засулич. Публика неистовствовала. Правда, на сей раз порыв был не столь единодушным. Нашлись люди, кричавшие оратору: «Тебя первого казнить, изменник!»⁹⁸, но эти возгласы потонули в общем вопле восторга.

Согласно другому источнику, события в зале Кредитного общества развивались несколько иначе. «Не то чиновник, не то офицер» взошёл на кафедру и обратился к Соловьёву:

«– Профессор, как нужно понимать ваши слова о помиловании преступников? Это только принципиальный вывод из вашего понимания идеи царя и толкования народного мирозерцания или это есть реальные требования?..

Соловьёв вернулся на кафедру.

– Я сказал то, что сказал. Как представитель православного народа, не приемлющего казни... Царь должен помиловать убивших его отца»⁹⁹.

Несмотря на возмущение части публики, лектора вынесли из зала на руках.

⁹⁷ Правда, на это отважился Лев Толстой: он обратился к Александру III с аналогичной просьбой. Однако сделано это было в личном письме, которое в то время так и не стало известно обществу. (Подробнее см.: *Игорь Волгин. Колеблясь над бездной. Достоевский и императорский дом. М., 1998. С. 529–534.*)

⁹⁸ См.: *П.Щ. Событие 1-го марта и Владимир Сергеевич Соловьёв // Былое. 1906. № 3. С. 52–53.*

⁹⁹ *Попов И. И. Минувшее и пережитое. Москва, 1933. С. 93–94.*

Увы. Среди негодующих находилась и вдова Достоевского. Искренне считавшая себя и своего покойного мужа людьми определённых и, главное, одинаковых убеждений, Анна Григорьевна при всём своём расположении к Владимиру Соловьёву никак не могла согласиться с подобным кощунством.

Несправедливо было бы упрекать Анну Григорьевну в том, что, переписывая рукописи Достоевского, она не всегда имела возможности осмыслить их философически.

То, что посмел публично высказать Владимир Соловьёв, почти буквально совпадает с размышлениями на этот счёт его покойного учителя и собеседника.

Вспомним: «Церковь и Государство нельзя смешивать. То, что смешивают, – добрый знак, ибо значит клонит на Церковь».

Соловьёв именно «смешал». Но этот «добрый знак» не был понят и тем более – принят: самодержавию в его смертельном единоборстве с революцией было не до тонких соловьёвских умствований. Что касается неискушенной публики, то она восприняла слова оратора как простой призыв к милосердию, не вдаваясь в сложные философские обоснования¹⁰⁰.

Между тем для Владимира Соловьёва вопрос о помиловании первомаковцев имел глубокий мировоззренческий смысл. Подобный жест «с высоты престола» мог бы оправдать в его глазах само существование русской исторической власти. Иначе – «мы выйдем, отстранимся, отречёмся от неё».

Соловьёв вовсе не был политическим радикалом, и его слова, конечно, не следует рассматривать как какой-то сочувственный по отношению к революции призыв. Нет, Соловьёв, как и Достоевский, готов признать историческую необходимость русской монархии. Однако их понимание нравственной природы самодержавия вступало в тягостный конфликт с тем, чем самодержавие являлось на самом деле.

«Но если царь, – сказал в своей речи Владимир Соловьёв, – действительно есть личное выражение всего народного существа, и прежде всего, конечно, существа духовного, то он должен стать твёрдо на идеальных началах народной жизни: то, что народ считает верховной нормой жизни и деятельности, то и царь должен ставить верховным началом жизни»¹⁰¹.

Нет никакого сомнения, что Соловьёв внимательно читал последний «Дневник писателя», вышедший в день похорон Достоевского. И не исключено, что именно этот выпуск был у него на памяти, когда он произносил свою вдохновенную и рискованную речь. Ведь буквально то, о чём говорил оратор, автор «Дневника» высказал двумя месяцами раньше. «Царь для народа не внешняя сила... Царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его»¹⁰².

Но если так, то «нет казни».

Казнь была: русский царь не позволил «смешать» себя с той «Церковью», о которой говорил Достоевский, к которой «подталкивал» его Владимир Соловьёв и которая существовала только в их воображении. Недаром официальный блюститель другой церкви – отнюдь не «вселенской», а вполне земной и реальной – К. П. Победоносцев сделал всё от него зависящее, чтобы не допустить такого развития событий.

¹⁰⁰ Вл. Соловьёву не простили этой акции: несмотря на «объяснительное» письмо Александру III, где автор повторил свои основные аргументы, его временно лишили права публичных выступлений. Вскоре он оставил профессорство в Петербургском университете.

¹⁰¹ Былое. 1906. № 3. С. 52.

¹⁰² Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

Соображения обер-прокурора

30 марта, уже после вынесения смертного приговора первомаковцам и, очевидно, будучи хорошо информированным о том, что произошло в зале Кредитного общества, Победоносцев пишет новому императору отчаянное письмо: «Сегодня пущена в ход мысль, которая приводит меня в ужас. Люди так развратились в мыслях, что иные считают возможным избавление осуждённых преступников от смертной казни... Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет – этого быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в такую минуту простили убийц отца Вашего, русского государя, за кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сердцем) требует мщения и громко ропщет, что оно замедляется»¹⁰³.

Вспомним: «Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком...»

Победоносцев требовал аутодафе.

Владимир Соловьёв, взывая к царю, приводил тот, по его мнению, неотразимый аргумент, что помилование отвечает самому духу народному, не ведающему двух правд. К тому же «решающему» доводу – но с целью прямо противоположной – обращается и обер-прокурор Святейшего синода: «Я русский человек, живу посреди русских и знаю, что чувствует народ и чего требует».

И Соловьёв и Победоносцев говорили как бы от имени народа. Сам же народ *безмолвствовал*.

Достоевский обращает свои взоры в ту же сторону. Но из всех возможных «признаков» нации он выделяет *совесть* – как определяющую национальную доминанту.

Поэтому, пожалуй, без большого риска ошибиться можно угадать, чью бы сторону взял автор Пушкинской речи в этом споре – накануне казни.

Тот, кто согласно Достоевскому и Соловьёву призван был воплощать в себе дух народа, тоже сделал свой выбор. На письме Победоносцева император начертал: «Будьте спокойны, с подобными предложениями ко мне не посмеет прийти никто, и что все шестеро будут повешены, за это я ручаюсь»¹⁰⁴¹⁰⁵.

...Видя негодование Анны Григорьевны, её знакомая, тоже присутствовавшая на лекции, даже вступилась за Владимира Соловьёва, напомнив, что Достоевский как-никак отождествлял его со своим любимцем – Алёшей Карамазовым.

И тут произошло нечто удивительное.

«Нет, нет, – горячо возразила Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович видел в лице Вл. Соловьёва не Алёшу, а Ивана Карамазова»¹⁰⁶.

Восклицание вдовы Достоевского как будто противоречит известной традиции. При чём здесь Иван? Но, с другой стороны, у нас нет никаких оснований не верить мемуаристке. Конечно, по своему умственному складу (обладающий, если воспользоваться характери-

¹⁰³ В свете этого послания драматичной выглядит попытка Льва Толстого передать своё письмо к Александру III именно через Победоносцева (последний, естественно, отказался от подобной миссии).

¹⁰⁴ Шестой смертный приговор не был приведён в исполнение: осуждённая Гесья Гельфман оказалась беременной, и её казнь была *отсрочена*. Вскоре она и её ребёнок погибли в заключении.

¹⁰⁵ Победоносцев и его корреспонденты. Т. 1. Полутом 1. С. 47.

¹⁰⁶ Стоюнина М. Н. Из воспоминаний об А. Г. Достоевской // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. Москва – Петроград, 1924 (на обл.: 1925). С. 579. Не лишено интереса свидетельство той же Анны Григорьевны, что Владимир Соловьёв своим душевным строем напоминал Достоевскому друга его юности – И. Н. Шидловского (человека, похоже, «иван-карамазовского» склада). «Мне всё кажется, – говорил Достоевский Соловьёву, – что в Вас переселилась душа Шидловского. – А когда он умер? – спросил Соловьёв. – Да в таком-то году. – Ну, а я родился в таком-то, на 20 лет раньше. В таком случае, Вы полагаете, что в первые 20 лет во мне не было никакой души». Все мы посмеялись этой мысли» (см.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Москва – Петроград, 1922. С. 68).

стикой, относящейся к Раскольникову, «диалектикой, выточенной как бритва») «русский Платон» – Владимир Соловьёв – более напоминает Ивана Карамазова, нежели «русского послушника» Алёшу. Автор *Легенды о великом инквизиторе* (она, как помним, сочинена Иваном) в принципе мог быть человек такого интеллектуального склада, как Владимир Соловьёв.

Признание Анны Григорьевны, вырвавшееся в горячую минуту, находит серьёзную опору и в текстах самого Достоевского. Ведь то, о чём «теоретик» Иван Карамазов толкует в келье старца Зосимы, другой теоретик – Владимир Соловьёв – пытается «провести на практике»: ввиду воздвигавшихся на Семёновском плацу шести виселиц.

Самодержавие предпочло послушаться государственника Победоносцева, а не идеалиста Владимира Соловьёва.

Но пора вернуться назад – к зиме 1880 года.

Глава IV. Портрет с натуры

Зима 1880 года. Продолжение

Если пересмотреть дневниковые записи, которые вели в 1879–1880 годах видные деятели царствования – председатель Комитета министров П. А. Валуев, военный министр Д. А. Милютин, государственный секретарь Е. А. Перетц, сенатор А. А. Половцев и другие, – можно убедиться, что, пожалуй, ни один из них не сохранил душевного спокойствия. «Кризис верхов» выражался не только в судорожных действиях правительственной администрации, но и в необычных умонастроениях её главных руководителей.

Летом 1879 года, вернувшись вместе с императорской семьей из Крыма, Д. А. Милютин записывает: «...Я нашёл в Петербурге странное настроение: даже в высших правительственных сферах толкуют о необходимости радикальных реформ, произносится даже слово “конституция”; никто не верует в прочность существующего порядка вещей»¹⁰⁷.

Год заканчивался; выхода пока не предвиделось.

В декабрьском номере «Отечественных записок» М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Год приходит к концу, страшный год, который неизгладимыми чертами врезался в сердце каждого русского»¹⁰⁸.

В своём интимном дневнике наследник престола (будущий Александр III) с присущей ему любовью к определённости делает вывод, что «самые ужасные и отвратительные годы, которые когда-либо проходила Россия, – 1879 и начало 1880»¹⁰⁹.

Разумеется, Салтыков-Щедрин и Александр Александрович имели в виду весьма различные вещи. Но ощущение неблагополучия, неуверенности, разлада, предчувствие близкой катастрофы были всеобщими.

Что принесёт новый, 1880 год? Этого Достоевский не знал.

Его давний приятель – Яков Петрович Полонский – печатно гадал о ближайшем будущем (почему-то – размером лермонтовского «Мцыри»):

...И пусть из нас никто не пьёт
За новый, в мир грядущий год.
Идёт с закрытым он лицом,
С неведомым добром и злом,
Не разглашая наперёд,
Какое знамя он несёт.¹¹⁰

Стихотворение называлось «Беспутный год»: подразумевался год минувший.

Шестнадцать смертных казней и три дерзких посягновения на особу государя – такой статистики Россия ещё не знала.

Последнее покушение пришлось на конец года и не походило ни на одно из предыдущих.

19 ноября, в одиннадцатом часу вечера, рвануло на третьей версте Московско-Курской железной дороги: гром был слышен в Первопрестольной. Минную галерею подвели

¹⁰⁷ Милютин Д. А. Дневник (1878–1880). Ред. и примеч. П. А. Зайончковского. Т. 3. Москва, 1950. С. 148.

¹⁰⁸ Отечественные записки. 1879. № 12. С. 238.

¹⁰⁹ Цит. по кн.: Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация в России. Москва, 1963. С. 136.

¹¹⁰ Неделя. 1880. 1 января.

под железнодорожное полотно прямо из расположенного неподалёку дома. Будущий сосед Достоевского, Александр Баранников, хотел лично сомкнуть гальваническую цепь: за ним и так уже числился Мезенцов. Но – не знал, как обращаться с аппаратом, и операцию доверили другому.

Императорский состав проследовал первым; с рельсов сошёл второй поезд – свитский. Счастье снова улыбнулось государю: обычно поезда двигались в обратном порядке.

В дело впервые вступил динамит.

Это было необычно и современно: романтические пуля и кинжал явно уступали новому устрашающему оружию. В русский язык входило новое слово: «динамитчик».

...Зима 1880 года перевалила на вторую половину. Анна Григорьевна быстро оправилась от простуды (она не любила залёживаться), и жизнь постепенно наладилась.

По четвергам его приглашали две дамы – уже упомянутая выше Софья Андреевна Толстая и её племянница – Софья Петровна Хитрово.

Вдова Алексея Константиновича Толстого по прихоти судьбы обладала тем же титулом, именем и отчеством, как и жена автора «Войны и мира». Пятидесятишестилетняя С. А. Толстая, не имея собственных детей, обожала племянницу Софью Петровну (в которую, к слову, много лет был безнадежно влюблён Владимир Сергеевич Соловьёв). Она выдала её за дипломата, но, памятуя о печальной участи Грибоедова, нашла более справедливым, чтобы он отстаивал русские интересы в Персии один – без семьи. Софья Петровна Хитрово с детьми были поселены в доме С. А. Толстой.

Сорок лет спустя, уже в двадцатые годы XX столетия, одна старая дама из высшего русского общества встретила в Швейцарии дочь Достоевского: та доживала свои дни на европейских курортах. «Когда графиня Софья, – доверительно призналась эта дама Любове Фёдоровне, – приглашала нас на свои вечера, мы приходили, если у нас не было более интересных приглашений; когда же она писала: “Одной из нас Достоевский обещал прийти”, тогда забывались все другие вечера, и мы прилагали все усилия, чтобы явиться к ней»¹¹¹.

Салон С. А. Толстой – один из немногих петербургских салонов, соединявших в себе политику и литературу.

В апреле 1877 года Н. Н. Страхов, регулярно посвящавший Льва Толстого в события своей и чужой жизни, сообщает ему следующие подробности о графине: «Она, да и ещё и другая дама, её приятельница (очевидно, С. П. Хитрово. – *И.В.*), – большие охотницы до философии, много читают и даже ходили до этого в Публичную Библиотеку... Графиня очень учёна, даже знает по-санскритски несколько... На женскую учёность я смотрю, как Вы; но тут всё имеет такие большие размеры, что если это одна фальшь – то грустное и странное явление».

Характеристика, как часто бывает у Страхова, двусмысленна: с одной стороны, ему явно льстит это интеллектуально-светское знакомство, с другой – он старается сохранить по отношению к учёной графине известную ироничность. Впрочем, автор письма вынужден признать, что графиня Софья Андреевна «очень проста и мила; ум ей приписывают необыкновенный».

В начале 1880 года Н. Н. Страхов попадает наконец в дом. «Затем большое событие, – адресуется он к жене Льва Толстого, – я был... у графини С. А. Толстой, Вашей тёзки... Там я нашёл Гончарова и Достоевского, которые, говорят, не пропускают ни одного четверга... Большой свет состоял из Игнатьева (будущий министр внутренних дел. – *И.В.*) и дам, которых, к несчастью, невозможно было рассмотреть в модном полумраке. Графиня считается женщиной необычайного ума, и любезна необыкновенно, так что я почувствовал желание

¹¹¹ Литературное наследство. Т. 86. Москва, 1973. С. 304.

подражать Гончарову и Достоевскому. Только нет у меня такого фрака с открытою грудью, в каких они сидели и какие Вл. Соловьёв считает решительным бесстыдством»¹¹².

Дружба с С. А. Толстой – одна из немногих привязанностей позднего Достоевского.

«Хотя моя мать, – вспоминала Любовь Фёдоровна, – и была несколько ревнива, она не возражала против частых посещений Достоевским графини, которая в то время уже вышла из возраста соблазнительницы». Соблазну иных посещений «он предпочитает комфорт и сдержанную элегантность графини Толстой»¹¹³.

Действительно: как только девятая книга «Карамазовых» была отправлена в Москву, он не замедлил появиться в доме, который, по словам Мельхиора де Вогюэ, напоминал гостиные Сен-Жерменского предместья.

Секретарь французского посольства в Петербурге виконт Мельхиор де Вогюэ был непременным посетителем салона. Трудно сказать, отличался ли он какими-нибудь выдающимися талантами на поприще внешней политики. Но он совершил то, что превосходит самый блистательный дипломатический успех. Он познакомил Запад с русским романом, открыв для европейского читателя имена Толстого и Достоевского.

17 января 1880 года был четверг. Вернувшись от графини С. А. Толстой, где он в этот вечер встретил автора «Карамазовых», «первый славист» записывает в дневнике: «Любопытный образчик русского одержимого, считающего себя более глубоким, чем вся Европа, потому что он более смутен. Смесь «медведя» и «ежа». Самообольщение, позволяющее предвидеть, до каких пределов дойдёт славянская мысль в её ближайшем большом движении. «Мы обладаем гением всех народов и сверх того русским гением, – утверждает Достоевский, – вот почему мы можем понять Вас, а Вы не в состоянии нас постигнуть»¹¹⁴.

В этой внутренней полемичной записи, как будто ещё хранящей жар недавнего спора, Мельхиор де Вогюэ зафиксировал (правда, в сильно преувеличенном и, кажется, не вполне адекватном виде) некоторые мотивы будущей Пушкинской речи. Ещё остаётся целых полгода до открытия памятника на Тверском бульваре в Москве; ещё сам автор «Речи» и не подозревает о своём будущем триумфе. Однако *слово* уже готово сорваться с губ.

...Ночи, как всегда, были отданы «Карамазовым». Днём – обычно после двух (хозяин ложился около семи и поднимался поздно) – являлись посетители: всякие. Немало сил отнимали и литературные вечера, которые всё более входили в моду, несмотря на беспокойствие политическое.

«Мастерское чтение Фёдора Михайловича, – говорит Анна Григорьевна, – всегда привлекало публику, и, если он был здоров, он никогда не отказывался от участия, как бы ни был в то время занят»¹¹⁵.

Положим, привлекало не только чтение.

Литературные вечера были явлением сравнительно новым. Их начали устраивать ещё в шестидесятые годы, но постоянной и примечательной чертой общественного быта они сделались лишь недавно. Они устраивались Литературным фондом, Медико-хирургической академией, Университетом, педагогическими курсами, гимназиями и, как правило, носили благотворительный характер. Выручка шла в пользу больниц, сиротских приютов, недостаточных студентов различных учебных заведений и т. д.

Разумеется, ни о каком гонораре не могло быть и речи: выступления рассматривались как прямой общественный долг.

¹¹² Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870–1894. Издание Общества Толстовского музея. Т. 2. Санкт-Петербург, 1914. С. 111–112, 252.

¹¹³ Литературное наследство. Т. 86. Москва, 1973. С. 303–304.

¹¹⁴ Литературное наследство. Т. 15. Москва, 1934. С. 146.

¹¹⁵ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 350.

Ещё не вошло в обычай посылать выступавшим записки или задавать им вопросы. Поэтому, как правило, функции писателей ограничивались *декламацией*: чтением отрывков из собственных или чужих произведений (разумеется, тексты предварительно просматривались той или иной цензурой). Слушателям же на подобных вечерах предоставлялась единственная возможность лицезреть «живого» писателя: вещь немаловажная, если вспомнить об исключительности в России звания литератора.

После смерти Некрасова только четыре человека в стране могли претендовать на роль её духовных вождей: Тургенев, Толстой, Салтыков-Щедрин и Достоевский.

На протяжении двух последних зим имя Достоевского нередко являлось на петербургских афишах. Его звали, на него рассчитывали, его участия добивались. Этот вполне новый для него род деятельности требовал немалых усилий – как духовных, так и физических (последние были тем ощутимее, что, выступая, он совершенно не умел беречься и при своём расстроенном здоровье *выкладывался* весь).

Правда, здесь были и свои приятные стороны. Восторженные овации, неизменно (с весны 1879 года) сопровождавшие его появление на литературных вечерах и как бы идущие наперекор установившемуся по отношению к нему журнальному стереотипу, медленный, но неостановимый рост популярности – все эти, строго говоря, внелитературные факторы создавали новую литературную ситуацию. Его писательское положение менялось. Менялось и положение общественное. Сдвиги на первый взгляд были не столь уж заметны; однако именно они в значительной мере подготовили его московский триумф.

«Указующий перст, страстно поднятый», необходимый, по его понятиям, во всякой художественной деятельности, отныне мог быть поднят прилюдно. То, что он говорил, сопрягалось теперь с тем, *как* он это говорил: со звуком его голоса, с интонацией, с выражением лица. На глазах у публики слово воссоединялось со своим творцом: такое видимое *преображение*, конечно, превышало эффект «чистого» чтения. «Кафедра» отвечала характеру его дарования, но только в самом конце он обрёл её буквально.

К концу зимы стало возможным несколько перевести дух (следующие главы романа появятся лишь в апрельской книжке «Русского вестника»). И если в самом начале года, по горло занятый работой, он вежливо, но твёрдо отказывается принять участие в *престижном* вечере Литературного фонда, то теперь он готов появиться на эстрадах весьма и весьма скромных.

2 февраля предполагалось выступление в Коломенской женской гимназии. «Какое нетерпеливое волнение, – писал Достоевскому устроитель вечера Пётр Исаевич Вейнберг, – происходит между нашими ученицами в ожидании завтрашнего дня – Вы и представить себе не можете!»¹¹⁶. Волновался и сам поэт: не забудет ли? Достоевский успокаивал: явится вовремя и прочтёт «что Вам будет угодно назначить».

В конце письма следовала приписка: «В случае какой-нибудь слишком жестокой бури, наводнения и проч., разумеется, не в состоянии буду прибыть. Но вероятнее, что все обойдётся благополучно»¹¹⁷.

В Петербурге наводнений в феврале обычно не случается: следовательно, это была шутка. Она свидетельствовала об известном расположении духа.

«Вообще говоря, – вспоминает Анна Григорьевна, – 1880 год начался для нас при благоприятных условиях: здоровье Фёдора Михайловича после поездки в Эмс в прошлом году (в 1879-м), по-видимому, очень окрепло, и приступы эпилепсии стали значительно реже. Дети наши были совершенно здоровы. “Братья Карамазовы” имели несомненный успех, и некоторыми главами романа Фёдор Михайлович, всегда столь строгий к себе, был очень

¹¹⁶ Материалы и исследования. Т. 4. Ленинград, 1980. С. 246.

¹¹⁷ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 130.

доволен. Задуманное нами предприятие (книжная торговля) осуществилось, наши издания хорошо продавались, и вообще все дела шли недурно. Все эти обстоятельства, вместе взятые, благоприятно влияли на Фёдора Михайловича, и настроение его духа было весёлое и приподнятое»¹¹⁸.

Зимой 1880 года Достоевский ни в малой степени не разделяет глубокого пессимизма «верхов». Его тревоги – совсем иного рода.

Действительно, если проследить хотя бы один только *тон* его поздней переписки, можно не без некоторого удивления убедиться, что настроение его всё время идёт крещендо, достигая апогея в дни пушкинских торжеств. «Настроение» не очень удачное слово: здесь правильнее было бы сказать о чувстве, более похожем на историческое ожидание. Ожидание скорой и неминуемой перемены судеб: не личных, но общих.

Это чувство и связанный с ним строй ценностных представлений заметно отличаются от его умственного и душевного расположения в начале десятилетия – с зачастую резкими и безоговорочными суждениями, жесткостью литературных и идейных характеристик, раздражительностью и непримиримостью к «чужому».

Конечно, подобный сдвиг можно объяснить тем громадным духовным подъёмом, который испытал в свои последние годы автор «Братьев Карамазовых», его мощной творческой поглощённостью.

Это объясняет многое, но не всё.

Еще в 1878 году, приступая к «Карамазовым», он пишет одному старому знакомому: «Огромное теперь время для России, и дожили мы до любопытнейшей точки...»¹¹⁹ Он хвалит своего корреспондента за то, что тот чувствует себя принадлежащим «ко всему текущему, живому и насущному, бьющемуся продолжающейся жизнью». «Ведь и я, например, – продолжает Достоевский, – точь-в-точь так же, хотя по симпатиям я вовсе не шестидесятых и даже не сороковых годов. Скорее теперешние годы мне более нравятся по чему-то уже ввявь совершающемуся, вместо прежнего гадательного и идеального»¹²⁰.

Ощущение «огромности времени» – доминирующая черта позднего Достоевского. Понимание того, что «вся Россия стоит на какой-то окончатальной точке, колеблясь над бездной», вовсе не ввергает его в чёрную меланхолию и не обращает в мизантропа. Напротив, именно это чувство заставляет страстно желать развязки. Он не отворачивается от будущего, не бежит от него – он идёт навстречу ему с открытым лицом.

Зимой 1880 года он нередко проповедует в гостиных, как бы «обкатывая» положения уже близкой Пушкинской речи. Круг знакомых всё тот же: Штакеншнейдер, Полонские, графиня С. А. Толстая...

В гостях и дома

Вольготнее всего он чувствовал себя у Штакеншнейдеров, в семье покойного петербургского архитектора. Там не было ни светской чопорности, ни особого «политичного» духа литературных салонов. Собирались в основном свои – старые, ещё с шестидесятых годов знакомцы: Аполлон Николаевич Майков, Яков Петрович Полонский – с жёнами, вечный холостяк Николай Николаевич Страхов, Загуляевы, Аверкиевы... Атмосфера дома поддерживалась стараниями Елены Андреевны Штакеншнейдер, старшей дочери хозяйки, «горбуни с умным лицом», как называл её Иван Александрович Гончаров. «...Пожилая,

¹¹⁸ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 350.

¹¹⁹ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 19.

¹²⁰ Там же. С. 40.

болезненная девушка (ей было около сорока пяти лет. – *И.В.*), на костылях и с больными ногами, умная, добрая и приветливая», – говорит о ней младшая современница¹²¹.

Автор этих воспоминаний Л. И. Веселитская (В. Микулич) впервые увидела Достоевского у Штакеншнейдеров зимой 1880 года. Ей показалось, что своим приходом он внёс в гостиную некоторое стеснение: «Его точно сторонились и побаивались»¹²². Это, впрочем, понятно: он *трудный* гость. У него никогда не хватало такта (как, скажем, у Тургенева) поддерживать «приличный» светский разговор; он не мог, как Толстой, мягко захватить собеседника (именно собеседника, а не слушателя!) и без нажима подчинить своей воле. Он сам жаловался, что у него «нет жеста», в том числе, очевидно, и жеста речевого, помогающего соблюсти известные разговорные формы. Он мог говорить только о том, что более всего волновало его в данную минуту. Не всякий выдерживал этот уровень общения: вокруг могли образоваться пустоты.

Обыкновенная манера его речи, как передает Страхов, – говорить со своим собеседником «вполголоса, почти шёпотом, пока что-нибудь его особенно не возбуждало; тогда он воодушевлялся и круто возвышал голос»¹²³. Эта сугубо личная особенность, очевидно, сказалась и в творчестве: такие «подъёмы голоса» (после нарочито замедленной «экспозиции») особенно характерны для «Дневника писателя».

Автор полифонических романов в обществе – монологист: его цель не столько убедить собеседника, сколько высказаться, изложить свой символ веры, ещё раз проверить себя. «Не помню, чтобы он вёл споры, – замечает Микулич, – хотя многие из гостей Штакеншнейдеров не соглашались с ним и думали совсем иначе, чем он».

В его речевом обиходе нет плавных переходов, нет мягкой сглаженности формулировок, оставляющих возможность компромисса. Диалог обрывист и угловат, зато стремителен и захватывающ монолог. Он не соблюдал разговорного этикета. «Если ему не нравилось какое-нибудь высказанное мнение, он прямо и довольно резко заявлял об этом, но что-то не помню, чтоб ему возражали»¹²⁴.

На первый взгляд это труднообъяснимо. Один из величайших мастеров диалога, искусно сталкивающий в своих романах полярные точки зрения и высекающий из этих столкновений точно рассчитанный художественный эффект, тонкий диалектик, самозабвенно «играющий» мыслью и отважно испытывающий её «на практике», он – нетерпим в близком идейном общении, закрыт для равноправного спора, глух к чужому. Какое уж тут многоголосье...

Однако не является ли этот внешний монологизм Достоевского обратной стороной внутренней душевной борьбы? Не прошёл ли он уже *прежде* по всему звучащему диапазону, чтобы остановиться на чём-то одном, выбрать себе такую ноту, которая твёрдо противостояла бы всей внятной ему музыке?

В этом случае монолог ещё и средство самоубеждения.

Ему нужен не столько собеседник, сколько слушатель, ибо все возможные возражения уже известны, подвергнуты рассмотрению, преодолены (или, во всяком случае, кажутся, что преодолены), и необходимо убедить слушателя, чтобы убедиться самому.

«Он начинал мечтать вслух, – вспоминает Всеволод Соловьёв (брат Владимира Соловьёва и сын историка С. М. Соловьёва), – страстно, восторженно о будущих судьбах человечества, о судьбах России».

¹²¹ Микулич В. Указ. соч. С. 6.

¹²² Там же. С. 8.

¹²³ Биография... С. 181 (вторая пагинация; в тексте ошибочно 281). Ср. также свидетельство де Воллана, что Достоевский разговаривал с ним «каким-то зловещим шёпотом» (Голос минувшего. 1914. № 4. С. 124).

¹²⁴ Микулич В. Указ. соч. С. 9.

Его мысль всё время устремлена в будущее; эта область для него ничуть не меньшая реальность, чем настоящее. Он предпочитает затрагивать крупные, глобальные темы, и в его разговорах они выступают гораздо «прямее», публицистичнее, нежели в его романах. Та *мировая тревога*, которая явлена в последних, никогда не покидает его самого.

«Эти мечты бывали иногда несбыточны, — продолжает Всеволод Соловьёв, — его выводы казались парадоксальными. Но он говорил с таким горячим убеждением, так вдохновенно и в то же время таким пророческим тоном, что очень часто я начинал и сам ощущать восторженный трепет, жадно следил за его мечтами и образами и своими вопросами, вставками подливал жару в его фантазию».

Интересно, что общение с самим Достоевским вызывает у Соловьёва чувства, подобные тем, какие он испытывал, знакомясь с его произведениями. «Это было то же самое, что и в те годы, когда, ещё не зная его, я зачитывался его романами. Это было какое-то мучительное, сладкое опьянение, приём своего рода гашиша». Степень напряжения, если даже слушатель оставался пассивным, очень велика: «После двух часов подобной беседы я часто выходил от него с потрясёнными нервами, в лихорадке»¹²⁵.

«Беседа» — сильно сказано; разумеется, беседа, только по форме: проповедник не нуждается в оппоненте.

Всеволод Соловьёв говорит о беседах с глазу на глаз; но точно так же Достоевский ведёт себя на людях: «Конечно, он не был создан для общества, для гостиной»¹²⁶.

Тургенев на публике — великолепный рассказчик, остроумец, душа общества; Толстой также не чужд этого жанра (он, правда, не любит злословить); ни тот ни другой, как правило, не задавливают собой общей беседы. Тургеневу и Толстому — в их частной жизни — не нужна кафедра. (Когда Толстой «проповедует» в домашнем кругу или перед незнакомыми посетителями, то делает это скорее по инерции, избегая сильных душевных волнений, и — не пространно.)

Кафедра нужна Достоевскому. Ибо его страстная, с вселенскими захватами речь — всегда на несколько градусов выше средней «разговорной температуры». Потому что сам он — не холоден, не тёпл, но — горяч.

...В. Микулич, сидя у Штакеншнейдеров, поглядывает на гостей. «Невольно я перевела взгляд с безмятежной, невинной физиономии Страхова на судорожно возбужденное, замученное лицо Достоевского с горящими глазами и думала: «Какие они единомышленники? Те любят то, что есть; он любит то, что должно быть. Те держатся за то, что есть и было; он распинается за то, что придёт или, по крайней мере, должно прийти. А если он так ждёт, так жаждет того, что должно прийти, стало быть, он не так-то уж доволен тем, что есть?...»¹²⁷

Наблюдательницу прежде всего поражает внешний контраст; это видимое несходство с окружающими как бы символизирует для нее несходство внутреннее.

Об этом последнем несовпадении нам ещё придётся говорить; остановимся пока на другом.

Как выглядел Достоевский в свои последние годы?

О наружности и внешности

Микулич пишет: «...некрасивое, болезненно-бледное лицо с русой бородой, с умным сморщенным лбом и пронизательными глазами». Для неё, двадцатитрёхлетней девушки,

¹²⁵ Соловьёв Вс. (...) Большой человек (Из воспоминаний о Достоевском). Санкт-Петербург, 1904. С. 40.

¹²⁶ Там же. С. 56.

¹²⁷ Микулич В. Указ. соч. С. 11.

пятидесятивосьмилетний Достоевский имеет вид «хилого», «бледнолицего старика»¹²⁸. Может быть, это впечатление обманчиво?

Всеволод Соловьёв познакомился с Достоевским в 1873 году. «Передо мною был человек небольшого роста, худощавый, но довольно широкоплечий, казавшийся гораздо моложе своих пятидесяти двух лет, с небольшой русой бородою, высоким лбом, у которого поредели, но не поседелли мягкие, тонкие волосы, с маленькими, светлыми карими глазами, с некрасивым и на первый взгляд простым лицом. Но это было только первое и мгновенное впечатление – это лицо сразу и навсегда запечатлевалось в памяти, оно носило на себе отпечаток исключительной духовной жизни».

Хотя Соловьёв отмечает в Достоевском признаки некоторой физической изношенности («кожа была тонкая, бледная, будто восковая»¹²⁹), рисуемый им портрет оставляет впечатление свежести и силы.

Анна Григорьевна, познакомившись со своим будущим мужем в 1866 году, когда ему было сорок пять лет, сначала полагала, что он значительно моложе. «С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти – семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы, были сильно напомажены и тщательно приглажены»¹³⁰.

Он делается моложе, когда говорит, ибо его речь не «прикрывает» его внутреннюю жизнь, а наоборот, передает малейшие душевные движения («выражение его подвижного нервного лица, – отмечает В. Микулич, – ясно говорило, что он думает о каждой сказанной фразе»¹³¹).

В. В. Тимофеева (О. Починковская) впервые увидела Достоевского в том же году, что и Всеволод Соловьёв. Её женский взгляд весьма проницателен и добавляет к портрету, нарисованному Соловьёвым, важные детали:

«Это был очень бледный – землистой, болезненной бледностью – немолодой, очень усталый или больной человек, с мрачным, изнурённым лицом, покрытым, как сеткой, какими-то необыкновенно выразительными тенями от напряжённо сдержанного движения мускулов. Как будто каждый мускул на этом лице с впалыми щеками и широким и возвышенным лбом одухотворён был чувством и мыслью».

И Всеволод Соловьёв, и Тимофеева отмечают одну и ту же сильно поразившую их черту: одухотворённость. Причём одухотворённость не подчеркнута театрального, «романтического» типа, а глубоко затаённую, «нутряную».

«И эти чувства и мысли, – продолжает Тимофеева, – неудержимо просились наружу, но их не пускала железная воля этого тщедушного и плотного в то же время, с широкими плечами, тихого и угрюмого человека. Он был весь точно замкнут на ключ – никаких движений, ни одного жеста, – только тонкие, бескровные губы нервно подергивались, когда он говорил»¹³².

Ни один воспоминатель, говоря о Достоевском 1873 года, не употребляет слово «старик».

¹²⁸ Там же. С. 8, 18.

¹²⁹ Соловьёв Вс. Указ. соч. С. 35.

¹³⁰ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 51.

¹³¹ Микулич В. Указ. соч. С. 8.

¹³² Т-ва В.В. <О. Починковская, В. В. Тимофеева>. Год работы с знаменитым писателем // Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 490.

Вообще 1873 году повезло на воспоминания: о Достоевском – редакторе «Гражданина» свидетельствует и метранпаж типографии, где печатался этот журнал, – Михаил Александрович Александров.

«Между прочим, как неоднократно впоследствии мне приходилось наблюдать, – пишет Александров, – Фёдор Михайлович перед незнакомыми ему людьми любил выказать себя бодрым, физически здоровым человеком, напрягая для этого звучность и выразительность своего голоса.

– Хорошие ли у вас наборщики? – спросил меня Фёдор Михайлович таким искусственно напряжённым голосом, в котором, однако, нетрудно было заметить старческую надтреснутость».

Возраст прежде всего даёт себя почувствовать в звуке – тогда, когда волевым усилием он пытается преодолеть давнюю физическую усталость.

«С первого взгляда, – замечает М. А. Александров, – он мне показался суровым и совсем не интеллигентным человеком всем хорошо знакомого типа, а скорее человеком простым и грубоватым... меня прежде всего поразила чисто народная русская типичность его наружности...»¹³³

Страхов говорит, что Достоевский, «несмотря на огромный лоб и прекрасные глаза, имел вид совершенно солдатский, то есть простонародные черты лица»¹³⁴. Тимофеева повторяет это определение почти дословно: лицо Достоевского напоминает ей «солдат – из «разжалованных»... тюрьму и больницу»¹³⁵. И, не сговариваясь с ними, – Всеволод Соловьёв: «Лица, производящие подобное впечатление, мне приходилось несколько раз видеть в тюрьмах – это были вынесшие долгое одиночное заключение фанатики-сектанты»¹³⁶.

В обликах Тургенева и Толстого удивительным образом сочетались русские простонародные черты с чертами высокого аристократизма. В облике Достоевского последние начисто отсутствуют. Его «простота» уравнивается чистой духовностью – и ничем иным.

Х. Д. Алчевская, впервые увидевшая Достоевского в мае 1876 года, так передаёт свои впечатления: «Передо мной стоял человек небольшого роста, худой, небрежно одетый. Я не назвала бы его стариком: ни лысины, ни седины, обычных примет старости, не замечалось; трудно было бы даже определить, сколько именно ему лет; зато, глядя на это страдальческое лицо, на впалые, небольшие потухшие глаза, на резкие, точно имеющие каждая свою биографию, морщины, с уверенностью можно было сказать, что этот человек много думал, много страдал, много перенёс. Казалось даже, что жизнь почти потухла в этом слабом теле»¹³⁷.

К 1880 году происходит заметное физическое постарение Достоевского; одновременно всё мощнее выступает наружу его духовная природа.

Если ещё в начале семидесятых годов Достоевский кажется современникам весьма болезненным человеком, то к 1880 году это впечатление резко усиливается. Один из свидетелей Пушкинского праздника говорит о «худом, пергаментно-жёлтом, скрюченном болезнью»¹³⁸ ораторе. Во всяком случае, все без исключения отмечают бросающуюся в глаза физическую немощь Достоевского (может быть, по контрасту с тем потрясающим впечатлением, которое произвела Пушкинская речь).

В 1880 году слово «старик» вполне приложимо к нему: он выглядит на свои годы.

¹³³ Александров М. А. Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 годах // Русская старина. 1892. № 4. С. 178–182.

¹³⁴ Биография... С. 181 (первая пагинация; в тексте ошибочно: 271).

¹³⁵ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 490.

¹³⁶ Соловьёв Вс. Указ. соч. С. 35.

¹³⁷ Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое. Дневники, письма, воспоминания. Москва, 1912. С. 74.

¹³⁸ Буква (И. Ф. Василевский). Литературные знаменитости на Пушкинском празднике в Москве в 1880 году // Русские ведомости. 1899. 19 мая.

Остаётся вместе с Крамским пожалеть, что «нет портрета последнего времени, равного перовскому»¹³⁹. Этот знаменитый (1872 года) портрет очень нравился самому натурщику. Анна Григорьевна утверждает, что Перов «сумел подметить самое характерное выражение... которое Фёдор Михайлович имел, когда он был погружён в свои художественные мысли»¹⁴⁰. Правда, находились любители, приглашавшие «публику идти на выставку в Академию художеств и посмотреть там портрет Достоевского работы Перова, как прямое доказательство, что это сумасшедший человек, место которого в доме умалишённых»¹⁴¹.

Крамской считает, что в последние годы лицо Достоевского сделалось ещё значительнее, ещё глубже и трагичнее»¹⁴². В подтверждение своих слов он указывает на одну из его последних фотографий. Она сделана в Москве 9 июня 1880 года – на следующий день после Пушкинской речи.

Фотография Панова – одно из самых поразительных и, думается, самых «адекватных» изображений Достоевского. При всём своём техническом несовершенстве она почти художественно передаёт «геометрию лица»: порой кажется, что портрет выполнен кубистом. Ни одной мягкой, расплывчатой линии – всё жёстко огранено, угловато, костисто. Глаза посажены столь глубоко, что их почти не видно из-под твёрдых надбровных дуг. Асимметрия лица ещё более усиливает сходство с живописью кубистов.

Ни на одном фотографическом портрете Достоевского нельзя заметить такой духовной концентрации, такой внутренней силы, как на снимке 1880 года.

Обидчивый обидчик

Но вот странность: носитель этой исключительной силы, по-видимому, нимало не заботится о том, чтобы обставить своё духовное «я» хоть какими-то атрибутами внешней торжественности. Напротив: его житейское поведение как бы намеренно разрушает тот возвышенный образ мыслителя и пророка, представление о котором присуще русскому интеллигентскому сознанию.

«Он не вполне сознавал свою духовную силу, – пишет Е. А. Штакеншнейдер, – но не чувствовать её не мог и не мог не видеть отражения её на других, особенно в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы»¹⁴³.

Толстой и Тургенев – особенно на склоне лет – никогда не позволяли себе таких *выходок*, как Достоевский. Отсюда отнюдь не следует, что их поведение отличалось какой-то особой преднамеренностью или театральностью. Просто оба писателя хорошо знали свои, как бы сказали теперь, социальные роли. Они никогда не забывали, кто они такие.

Достоевский тоже пытается помнить об этом; однако он всё же плохой «социальный актёр» – его непосредственность перевешивает необходимый минимум лицедейства; отсюда – срывы.

¹³⁹ Крамской И. Н. Письма, статьи в 2-х томах. Т. 2. Москва, 1966. С. 256.

¹⁴⁰ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 219.

¹⁴¹ Соловьёв Вс. Указ. соч. С. 40–41.

¹⁴² И. Н. Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837–1887. Санкт-Петербург, 1888. С. 669.

¹⁴³ Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки (1854–1886). Москва – Ленинград, 1934. С. 456.

Конечно, болезнь: она сильно деформировала личность. Но приписывать, как это часто делается, все его «уклонения» эпилепсии было бы ошибочно. В поведении Достоевского есть моменты, которые можно назвать структурными: они вытекают из общего психического склада его личности, и болезнь играет здесь лишь роль катализатора.

Многие мемуаристы, писавшие о Достоевском, обнаруживают одну общую подробность. В мемуарах упоминается о том тяжёлом впечатлении, которое производил автор «Преступления и наказания» при первом знакомстве (этой участи не избежала и его будущая подруга жизни). Он не умел нравиться сразу. Правда, Штакеншнейдер говорит, что он «в первое же своё посещение, за ужином, разговорился и очаровал всех», но тут же добавляет: «Слово “очарование” даже не вполне выражает впечатление, которое он произвёл. Он как-то скорее околдовал, лишил покоя»¹⁴⁴. Это «лишение покоя», производимое им самим, одновременно и один из важнейших признаков его художества. До конца жизни он так и не сумел усвоить безлично-вежливых, нейтральных форм общения – даже со случайными знакомыми. Если он «признавал» собеседника, тогда, как правило, наступало сближение, степень которого превышала психологический минимум, необходимый для простого поддержания знакомства.

«Он был чрезвычайно ласков, а когда он делался ласковым, то привлекал к себе неотразимо»¹⁴⁵, – свидетельствует Всеволод Соловьёв. В тесном интимном общении «проповедническое» могло успешно соседствовать с непритворным вниманием к собеседнику, с вхождением в мелкие и мельчайшие детали его жизненных забот (так, с величайшим участием выслушивает он все подробности любовной истории Всеволода Соловьёва). Он – исповедник не только в общественных или «мировых» вопросах: к нему обращаются по сугубо частным, порой интимным поводам.

Он умеет не только говорить, но и слушать – в том случае, если собеседник ему интересен и если он желает к нему приглядеться. «Он всё время заставлял меня говорить, поощряя беспрестанно замечаниями: “Ах, как вы хорошо, образно рассказываете! Просто слушал бы, слушал без конца!”»¹⁴⁶ – не без скрытой гордости сообщает Х. Д. Алчевская: почти жертвенное ликование сквозит в тоне этой темпераментной поклонницы (правнучки молдавского господаря), когда она – может быть, несколько самонадеянно – повествует о том, что чувствовала себя во время разговора с писателем тщательно анализируемым объектом.

Его расположение к собеседнику может помимо прочего выражаться в усиленном угощении сладостями, до которых он сам большой охотник: королевским черносливом, свежей пастилой, виноградом, изюмом. Он любит потчевать гостя и не приступает к деловому разговору, не предложив сладостей, папирос, чаю (чем и удивляет явившуюся к нему *для работы* строгую Анну Григорьевну).

«“Постойте, голубчик!” – часто говорил он, останавливаясь среди разговора... Это действительно особенно ласковое слово любят очень многие русские люди, но я до сих пор не знал никого, в чьих устах оно выходило бы таким задушевым, таким милым...»¹⁴⁷ – свидетельствует Всеволод Соловьёв.

Он, как мы уже сказали, непосредствен: на любительском спектакле у Штакеншнейдеров может прийти в «положительное восхищение», увидев Николая Николаевича Страхова в костюме испанского монаха: «Как он хорош! Bravo, Страхов! Вызывать Страхова!» Он сам готов принять участие в домашнем театре (причём непременно желает взять роль, требующую сильных страстей, – Отелло).

¹⁴⁴ Там же. С. 457.

¹⁴⁵ Соловьёв Вс. Указ. соч. С. 40–42.

¹⁴⁶ Алчевская Х. Д. Указ. соч. С. 78.

¹⁴⁷ Соловьёв Вс. Указ. соч. С. 40–41.

Он слушает музыку, и лицо его, по свидетельству украдкой наблюдающей за ним Микулич, кажется «таким добрым, простым и спокойным»¹⁴⁸.

Поведение знаменитости можно прогнозировать с большей или меньшей степенью точности: человек, постоянно находящийся в «фокусе», вырабатывает какой-то определённый стереотип поведения.

В этом смысле Достоевский непредсказуем.

«Меня всегда поражало в нём, – говорит Штакеншнейдер, – что он вовсе не знает своей цены, поражала его скромность. Отсюда и происходила его чрезвычайная обидчивость, лучше сказать, какое-то вечное ожидание, что его сейчас могут обидеть. И он часто и видел обиду там, где другой человек, действительно ставящий себя высоко, и предполагать бы её не мог. Дерзости природной или благоприобретенной вследствие громких успехов и популярности в нём тоже не было, а, как говорю, минутами точно желчный шарик какой-то подкатывал ему к груди и лопался, и он должен был выпустить эту желчь, хотя и боролся с нею всегда. Эта борьба выражалась на его лице, – я хорошо изучила его физиономию, часто с ним видалась. И, замечая особенную игру губ и какое-то виноватое выражение глаз, всегда знала, не что именно, но что-то злое воспоследует».

Это «злое» могло быть, впрочем, совершенно невинным. У замужней сестры Штакеншнейдер родился ребёнок (была ещё другая сестра – вдова, с которой Достоевский недавно повздорил). Естественно, что на очередной субботе это семейное событие горячо обсуждалось. «Достоевский молчал, сидя, по обыкновению, возле меня. Вдруг я вижу, что губы его заиграли, а глаза виновато на меня смотрят. Я сейчас догадалась, что подкатился шарик. Хотел его проглотить наш странный дедка, да, видно, не мог. «Это у вдовы-то родился ребёнок?» – тихо спросил он и виновато улыбнулся. «У неё, – говорю, – и видите: она ходит по комнате, а другая сестра моя, не вдова, лежит в постели, а рядом с нею ребёночек», – говорю я и смеюсь. Он видит, что сошло благополучно: и себя удовлетворил, и меня не рассердил и не обидел, – и тоже засмеялся, уже не виновато, а весело».

Пустяковая «бытовая» острота спасла положение. Правда, этой психологической разрядки могло и не последовать: «Иногда ему удавалось победить себя, проглотить желчь, но тогда он обыкновенно делался сумрачным, умолкал, был не в духе»¹⁴⁹.

Он крайне раздражителен, но он же – отходчив; более того: он – управляем, и такая умная и сердечная женщина, как Елена Андреевна, это отлично знает и тактично этим пользуется. «Наш странный дедка» (никто больше так не называет Достоевского!) – в этом совершенно домашнем определении стойкая душевная приязнь, которую Достоевский, конечно, не мог не чувствовать.

Он отходчив даже в тех случаях, когда дело касается «заветных убеждений»: сколь ни удивительно, но это так. Единственное условие – искренность собеседника и, естественно, некоторое к нему расположение.

«...Фёдор Михайлович, – замечает Страхов, – всегда поражал меня широкостью своих сочувствий, умением понимать различные и противоположные взгляды»¹⁵⁰. Признание Страхова звучит несколько неожиданно в свете известного представления об идейной нетерпимости Достоевского, однако оно находит подтверждение и в других источниках.

Он умеет извинять самые невозможные вещи при одном условии: если они произносятся друзьями.

В азарте спора его вечная оппонентка Анна Павловна Философова (её дочь вспоминает: «Они оба спорить абсолютно не умели, горячились, не слушали друг друга, и тенорок

¹⁴⁸ Микулич В. Указ. соч. С. 13, 17.

¹⁴⁹ Штакеншнейдер Е. А. Указ. соч. С. 461–462, 458.

¹⁵⁰ Биография... С. 186 (первая пагинация; в тексте ошибочно: 176).

Фёдора Михайловича доходил до тамберликовских высот») может с досадой воскликнуть: «Ну и поздравляю вас, и сидите со своим “православным богом”! И отлично!» – и Достоевский, вместо того чтобы смертельно оскорбиться, «вдруг громко и добродушно рассмеялся: “Ах, Анна Павловна! и горячимся же мы с вами, точно юнцы!”»¹⁵¹

Но то, что прощалось Анне Павловне Философовой, не прощалось Ивану Сергеевичу Тургеневу.

Здесь необходимо вернуться в 1879 год.

¹⁵¹ Сборник памяти Анны Павловны Философовой. Т. 1. С. 266.

Глава V. Три вечера в марте

Пророк – в своём отечестве

В феврале 1879 года Иван Сергеевич Тургенев прибыл в Москву по случаю смерти брата.

Он уже давно не жил в России, однако почти каждый год посещал её наездами. И каждый раз заставлял перемены. Нынче эти перемены сделались особенно чувствительными. Они имели касательство не столько к внешнему течению жизни, сколько к её внутреннему строю, к тем неизменным на первый взгляд моментам существования, которые, сохранив свой обыкновенный образ, где-то в глубине дрогнули, тронулись, поддались.

Страна с огромным усилием выиграла (или, как говорили, «полувыиграла») войну: выручила Сербию, освободила Болгарию, прижала Оттоманскую империю к морю – и почти без борьбы уступила многие из своих побед – в Берлине, на конгрессе. Война не только не привела к внутреннему замирению, а, скорее, наоборот. Прошли первые большие политические процессы. Десятки людей были отправлены на каторгу. Суд присяжных оправдал Веру Засулич. Кравчинский заколол Мезенцова. Через полтора месяца А. Соловьёв будет стрелять в государя.

Выросло новое поколение, которого Тургенев не знал, но которое хорошо помнило автора «Отцов и детей». Правда, споры шестидесятых годов отодвинулись в прошлое, старые распри позабылись, – и никому не приходило на ум вопрошать: что есть Базаров? Сами Базаровы уже успели стать «отцами»; «детей» занимали теперь совсем другие материи.

Для нового поколения имя автора «Записок охотника» звучало легендарно. Пророком в своём отечестве можно было стать, только его покинув.

...Неистовые овации огласили своды Московского университета, когда огромный, белоголовый, неуклюжий гость, опрокинув по дороге учебный экран, вошёл в физическую аудиторию. Москва приветствовала его как первостепенную знаменитость. В Петербурге восторги повторились с удвоенной силой.

Тургенев не ожидал ничего подобного: так его не встречали ни в один из приездов его в Россию. Что же изменилось?

Изменилось многое.

Зимой 1879 года уже полным ходом шёл тот процесс, который через год с небольшим достигнет своей кульминации на Пушкинском празднике, а ещё через год будет оборван двумя взрывами на Екатерининском канале.

Ещё из Парижа Тургенев писал М. М. Стасюлевичу: «Ну, вот и мир заключён... Как-то мы разделаемся с наследием войны... и дождёмся ли другого наследия: представительных учреждений и т. п.»¹⁵²

Слово «конституция» не произносилось публично: она была «великим подразумеваемым». Ожидалось, что реформы шестидесятых годов получат наконец логическое завершение в скорейшем «увенчании здания».

Конституция, как *deus ex machina* (бог из машины), должна была разрешить все проблемы.

Тургенев приехал в горячее время. Автор «Записок охотника» являл собой известную общественную традицию: он, человек сороковых годов, стоял у истоков крестьянского освобождения; он слыл другом покойных Белинского и Герцена (широкая публика не знала всех

¹⁵² М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. Санкт-Петербург, 1912. С. 146.

тонкостей их взаимоотношений); он был старым заслуженным либералом; на него косилась власть.

Вернувшись в Париж, Тургенев скажет Герману Лопатину: «Ведь я понимаю, что не меня чествуют, а что мною, как бревном, бьют в правительство», – Тургенев красочным жестом показал, как это делается¹⁵³.

Тургенев был не так уж неправ. Молодёжь, столь неожиданно и бурно обратившая свои симпатии на автора «Отцов и детей», менее всего думала в эту минуту о высоких красотах его гармонической прозы. Она видела перед собой одну из звёзд «рассеянной плеяды» сороковых годов, едва ли не единственную интеллигентную фигуру европейского масштаба. И «цвет» её представлялся на расстоянии значительно более радикальным, нежели он был на самом деле.

В 1879 году ни Толстой, ни Достоевский не пользовались такой громкой писательской славой, как Тургенев. По позднейшему замечанию С. А. Венгерова, бывшего свидетелем тургеневских триумфов, «публика и критика поняли впоследствии, что Толстой и Достоевский выше Тургенева, что Тургенев просто хороший писатель, а они оба гениальны»¹⁵⁴.

Достоевский не любил Тургенева.

К «истории одной вражды»

Эта нелюбовь уходила своими корнями ещё в сороковые годы. Придя поначалу в восторг от остроумного и блестящего Тургенева, Достоевский очень скоро охладевает к своему новому знакомцу. Он никогда не мог забыть тех унижений, которые испытал от него в молодости: насмешек в глаза и за глаза, анекдотов, рассказываемых в злоязычном литературном кругу, откровенно явленного превосходства.

После каторги отношения установились сдержанные и довольно ровные: горячий материал накапливался постепенно.

Уже двенадцать лет, как они были в ссоре. С того самого июльского дня 1867 года, когда в немецком городе Бадене Достоевский в последний раз посетил Тургенева и окончательно с ним «расплевался». Двадцатилетние отношения завершились полным разрывом.

Достоевский изобразил тогда эту сцену в подробнейшем письме А. Н. Майкову: автор «Дыма» ругает Россию и всё русское и хвалит немцев; в свою очередь автор «Преступления и наказания» язвительно советует ему купить телескоп, дабы лучше видеть, что, собственно, происходит на отдалённой родине.

Нашёлся доброжелатель, переславший копию этого послания П. И. Бартеневу, издателю недавно возникшего «Русского архива», – для сохранения и обнародования лет этак через двадцать – двадцать пять¹⁵⁵. Узнав об этом «донесении потомству», Тургенев поспешил оправдаться, выбрав своим доверителем того же Бартенева.

В письме, предназначенном не столько его прямому адресату, сколько будущим потенциальным читателям, Тургенев со скромностью, тайно жаждущей возражений, замечал, что, хотя «в 1890 году и г-н Достоевский, и я – мы оба не будем обращать на себя внимания

¹⁵³ Лопатин Г. Воспоминания о И. С. Тургеневе // Красная новь. 1927. № 8. С. 171–172.

¹⁵⁴ Четыре встречи с И. С. Тургеневым. (Беседа с профессором С. А. Венгеровым) // Бирюч петроградских государственных театров. 1918. № 2. С. 44.

¹⁵⁵ Как уже в наши дни было установлено этим неизвестным доброжелателем являлся племянник П. И. Бартенева историк Н. П. Барсуков. Ему в свою очередь предоставил возможность ознакомиться с письмом А. Н. Майков, перед которым позднее Барсуков вынужден был оправдываться за свою нескромность. Барсуков, кроме того, просил Бартенева известить автора «Дыма», что копия письма получена не от Достоевского. Бартенева выполнил эту просьбу. (См.: Литературное наследство. Т. 86. С. 411. Ср.: История одной вражды. Переписка Достоевского и Тургенева. Под ред., с введением и примечаниями И. С. Зильберштейна. Ленинград, 1928. С. 175–179.)

соотечественников», он тем не менее «почёл своей обязанностью теперь протестовать против подобного искажения моего образа мыслей». Далее автор письма приводил следующий неотразимый довод: он уже потому полагал бы неуместным выражать перед Достоевским свои душевные убеждения, что считает его «за человека, вследствие болезненных припадков и других причин не вполне обладающего собственными умственными способностями». «Впрочем, – добавлял Тургенев, – это мнение моё разделяется многими другими лицами»¹⁵⁶.

Следует заметить, что корреспондент Бартенева несколько опережал события. Правда, эпилепсия Достоевского ни для кого не была секретом, да и сам он её отнюдь не стыдился, а даже любил при случае «выставлять» свой недуг (со смешанным чувством горести и гордости одновременно). Но перенесение признаков болезни с самого автора «Идиота» на его сочинения и (как в данном случае) на его общественное поведение станет печальным обычаем несколько позднее¹⁵⁷.

...Они не встречались и не переписывались двенадцать лет. Правда, в марте 1877 года Тургенев дал рекомендательное письмо к Достоевскому некоему Эмилю Дюрану, составляющему в Париже «монографии» о русской словесности. «Я решился написать Вам это письмо, – заканчивал своё краткое послание Тургенев, – несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на моё мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе»¹⁵⁸.

Это было великодушно: за человеком, не вполне обладающим «собственными умственными способностями», признавался талант.

Может быть, не лишено справедливости мнение, что Тургенев воспользовался подходящим предлогом для возобновления переписки и его письмо было осторожной попыткой наладить расторгнутую связь. Во всяком случае, это был жест. Неизвестно, отозвался ли Достоевский на это послание (скорее всего, нет, так как оно по своей форме и не требовало обязательного ответа), но, во всяком случае, атмосфера возможной в будущем встречи была несколько умягчена¹⁵⁹.

Встрече суждено было состояться 9 марта 1879 года.

Вечер первый

В зале петербургского Благородного собрания устраивался вечер в пользу Литературного фонда: подобные вечера пользовались наибольшим вниманием публики. «В программе был такой цветник имён писателей, – замечает современник, – что если бы вечер повторить трижды, то и тогда бы зал каждый раз был переполнен»¹⁶⁰. Действительно, «цветник» оказался изрядным: Тургенев, Достоевский, Полонский, Плещеев, Салтыков-Щедрин...

Согласимся, что присутствие на литературном вечере трёх классиков одновременно всегда чревато осложнениями.

¹⁵⁶ Русский архив. 1902. № 9. С. 148. Таким образом, П. И. Бартенев опубликовал это письмо через тридцать четыре года.

¹⁵⁷ См. подробнее: Хроника рода Достоевских. *Игорь Волгин*. Родные и близкие. М., 2013. С. 1115–1120.

¹⁵⁸ Из архива Достоевского. Письма русских писателей. Москва – Петроград, 1923. С. 130. Не исключено, что письмо было продиктовано желанием сгладить неприятное впечатление от инцидента, связанного с забывчивостью Тургенева, потребовавшего у Достоевского – через третье лицо – старый долг, который, как выяснилось, Достоевский уже отдал.

¹⁵⁹ Интересно, что спустя год, весной 1878-го, сам Тургенев, бывший семнадцать лет в ссоре с Л. Толстым, получил от него примирительное письмо (вызванное начавшимся у Толстого духовным переворотом), где он просто, без всякой дипломатии предлагает Тургеневу восстановить былые отношения. Тургенев немедленно отозвался на этот призыв.

¹⁶⁰ *Гнедич П. П.* Книга жизни. (Воспоминания). Ленинград, 1929. С. 121–122.

«Не обошлось и без маленького скандала, – подтверждает подобные опасения очевидец. – Когда Тургенев прошёл за занавес в комнату для чтецов, в коридоре он столкнулся со Щедриным и протянул ему руку; тот слегка взял её и отворотился. Достоевский сделал то же. “Здесь что-то холодно!” – заметил Тургенев своему спутнику и вышел из комнаты».

Сдержанность Салтыкова понятна: у редактора «Отечественных записок» с Тургеневым свои счёты. Что касается Достоевского, то и у него, естественно, не было оснований для особых восторгов.

Во всяком случае, дипломатические формальности были соблюдены.

Весьма симпатизирующий Тургеневу мемуарист (Д. Н. Садовников) сообщает далее, что коллеги писателя правильно оценили его демарш «и после подходили к Тургеневу, заводя с ним разговоры о разной всячине»¹⁶¹. Публика, хотя и не ведала, что делается за кулисами, могла догадываться о некотором неблагополучии, ибо отношения Тургенева и Достоевского ни для кого не были тайной.

Кстати, один из присутствовавших в зале так пишет об этом «прискорбном случае»: «Тургенев подошёл к Достоевскому и протянул ему руку, Достоевский не подал ему руки и отвернулся».

Как видим, подлинный факт обрастает драматическими подробностями. «Впрочем... – добавляет мемуарист, – описанный случай прошёл незамеченным публикою, так как писатели встретились не в общей зале, где происходило чтение, а в одной из комнат, в которых посторонних почти не было, и я услышал о происшедшем от двух-трёх лиц, приехавших со мною после литературного чтения к Я. П. Полонскому»¹⁶².

Несмотря на некоторую «закулисную» напряжённость, вечер прошёл блистательно. Хмурый Салтыков с длинною бородой и одутловатым лицом «вяло-брюзгливым и монотонным голосом»¹⁶³ читал отрывок из «Современной идиллии» – о том, как пришёл Глумов и сказал, что «надо погодить». И облик чтеца и сам его голос как нельзя более шли к мрачному колориту рассказа. «Я так и думал, – пишет Садовников, – что он в конце концов нетерпеливо крикнет: “Ну, чему обрадовались? Черти!”»¹⁶⁴

«Все переглядывались тогда с сумрачной, но удовлетворённой улыбкой, – свидетельствует другой воспоминатель. – Все понимали, что значит это глумовское “надо погодить”»¹⁶⁵.

Литературные чтения обретали важность политическую. В насыщенной электричеством атмосфере 1879 года слова проскакивали как грозовые разряды. Щедринское «годить» или «не годить» обретало гамлетовский оттенок.

Салтыкова вызывали три раза.

Достоевский читал, как он это делал всегда, в начале второго отделения (он любил выходить на эстраду после антракта, когда публика затихала, шурша программами). В последнее время он стал чаще являться перед публикой. Однако это выступление было особенным. И не только потому, что присутствовал старый соперник. Имелась ещё одна причина – капитальнейшая.

Впервые публично читались «Братья Карамазовы».

¹⁶¹ Садовников Д. Н. Встречи с И. С. Тургеневым // Русское прошлое. 1923. № 1. С. 79.

¹⁶² Ободовский К. П. Листки из записной книжки // Исторический вестник. 1893. Декабрь. С. 775.

¹⁶³ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 538.

¹⁶⁴ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 75.

¹⁶⁵ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 538.

Вокруг дебюта

Вот уже два месяца, как роман печатался в «Русском вестнике». Мнение о нём ещё не установилось: толки ходили разные. Не последовало пока и обстоятельных печатных разборов. Правда, кое-какие суждения уже имелись.

Автор, скрывшийся под псевдонимом «Некто из толпы» (это была дама – Е. П. Свешникова), писал в «Кронштадтском вестнике»: «С такими писателями, как Достоевский, можно не соглашаться, но не уважать их нельзя, потому что они никогда не виляют, никогда ни на минуту не примыкают к многочисленным последователям известного: “с одной стороны должно признаться, а с другой стороны нельзя не согласиться”»¹⁶⁶.

Из всех персонажей романа пока наибольшим вниманием рецензентов пользовалась «загадочная прелестница» – Грушенька. «Эта Грушенька, – замечает Скабичевский, – пока ещё скрывается в тумане, но на следующих страницах она не замедлит, конечно, предстать во всём своём блеске, окажется без сомнения в свою очередь маньячкой и тем не менее привлечёт в свои обольстительные сети не только папеньку и сына его Дмитрия, но и остальных братьев, не исключая и набожного святошу Алексея...»¹⁶⁷

Через несколько дней это суждение почти слово в слово повторит и «Некто из толпы»: когда Грушенька явится на сцену, тогда «в тихом, розовом Алёше наверно тоже скажется кровь Карамазовых»¹⁶⁸.

Любопытно, что в этих первых газетных откликах как бы предвосхищена одна из версий продолжения «Братьев Карамазовых»: пробуждение в Алёше карамазовского начала, его роман с Грушенькой и т. д. Правда, никто из критиков не догадывается пока о другом возможном варианте: об Алёше, идущем на эшафот.

«Достоевский пишет романы не по шаблону, и угадать его мысль не так легко, как у людей, сочиняющих своих героев в кабинетах»¹⁶⁹, – замечала «Газета А. Гатцука». «Его не все любят, им не увлекаются, – писал «Голос» 8 марта, то есть накануне интересующего нас вечера, – он редко доставляет чарующее наслаждение; но его все читают, он даёт наслаждение безжалостной правды даже в своих эксцентричностях...»¹⁷⁰

Это была первая большая статья о «Карамазовых»: она не имела подписи¹⁷¹.

Как и следовало ожидать, большая либеральная газета оценивала новый роман более чем прохладно. «“Братья Карамазовы” производят очень странное впечатление, – писал безымянный рецензент. – Мы отбрасываем в сторону самое появление их в Москве, на страницах тенденциознейшего и несимпатичного журнала. Для беллетристов, как известно, нет отечества в смысле журнальных партий и направлений. Но именно в романе г. Достоевского... замечается тенденция. Из-за Достоевского-беллетриста, незаметно, быть может, для самого автора, сквозит Достоевский-публицист».

Это было старое, успевшее стать привычным обвинение. Но если раньше размежевание между художником и мыслителем проводилось, как правило, по жанровому принципу (так, всё «нехудожественное», что печаталось в «Дневнике писателя», упорно противопо-

¹⁶⁶ Кронштадтский вестник. 1879. 25 февраля.

¹⁶⁷ Молва. 1879. 16 февраля.

¹⁶⁸ Кронштадтский вестник. 1879. 25 февраля.

¹⁶⁹ Газета А. Гатцука. 1879. 24 февраля.

¹⁷⁰ Голос. 1879. 8 марта. № 67.

¹⁷¹ Между тем имя автора, очевидно, весьма интересовало Достоевского. Прося В. Ф. Пуцыковича «не отвечать #Голосу» и другим по поводу Карамазовых» (в готовящемся к выходу берлинском «Гражданине»), он пишет: «“Голосу” я отвечаю и сам, но лишь осенью, когда узнаю в точности, кто писал. Это мне очень нужно для характера ответа» (Письма. Т. 4. С. 52).

лагалось «художественному» в романах), то теперь водораздел сооружался внутри самой романистики, где, по замечательному представлению критика, «беллетрист» и «публицист» поочередно менялись местами.

У автора «Карамазовых», продолжал *вчерашний* «Голос», «что ни образованный человек, то или негодяй, или психически больной»¹⁷². Сим намекалось на авторскую подозрительность по отношению именно к той публике, которая ныне собралась в зале.

Не было никакой уверенности, что аудитория отнесётся к новому роману одобрительно.

Автор мог бы действовать наверняка: прочитать что-нибудь из старого, уже апробированного, пользовавшегося стойким эстрадным успехом. «Накануне этого вечера, – вспоминает Анна Павловна Философова, – я виделась с Достоевским и умоляла его прочитать исповедь Мармеладова из “Преступления и наказания”. Он сделал хитрые, хитрые глаза и сказал мне:

– А я вам прочту лучше этого.

– Что? Что? – приставала я.

– Не скажу»¹⁷³.

Вечер первый. Продолжение

Он выбрал для чтения главу «Исповедь горячего сердца»: первый большой разговор братьев – Дмитрия и Алёши, рассказ Мити о том, как к нему «сама пришла» Катерина Ивановна – просить для отца четыре тысячи – и что между ними произошло.

Все, кому довелось видеть Достоевского на эстраде, отмечают его «несценичность»: небольшой рост, мешковатость, отсутствие импозантности. Он не обладал тем, что принято называть актёрским обаянием. Вдобавок ко всему, у него был слабый голос, часто прерываемый сухим кашлем (эмфизема лёгких и непрерывное курение давали себя знать).

«Начал он вяло и скучно: речь шла о такой чертовщине в полном смысле слова, что я невольно подумал: “вот человек... какой-то апокалипсис объясняет”»¹⁷⁴ – так передаёт своё первое впечатление весьма не расположенный к Достоевскому Садовников. По-видимому, он не был одинок. Другой очевидец (В. В. Тимофеева) так описывает происходящее: «Мне представлялось, как будто слушатели, бывшие в зале, сначала не понимали, что он читал им, и перешёптывались между собою:

– Маниак!.. юродивый!.. Странный...

А голос Достоевского с напряжённым и страстным волнением покрывал этот шёпот...

– Пусть странно! пусть хоть в юродстве! Но пусть не умирает великая мысль!»¹⁷⁵

Если Тургенев являлся перед публикой, заведомо к нему расположенной (когда он вошёл в залу, вспоминает А. П. Философова, «все как один человек, встали и поклонились королю ума»¹⁷⁶), готовой благодарно отозваться на каждое его слово, то для Достоевского ситуация была иной: дружественные чувства мешались с явным недоверием и настороженностью.

Ему приходилось переламявать настроение зала.

«Но когда дело дошло до признания Дмитрия Карамазова, всё разом переменялось. Публика замерла. Болезненная глубина чувства этого сладострастника была так художе-

¹⁷² Голос. 1879. 8 марта.

¹⁷³ Сборник памяти А. П. Философовой. Т. 1. С. 259.

¹⁷⁴ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 75.

¹⁷⁵ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 538–539.

¹⁷⁶ Сборник памяти А. П. Философовой. Т. 1. С. 258.

ственно-правдиво передана автором, что я ничего подобного не слыхивал. Манера читать прозу, стихи (в этой сцене Дмитрий декламирует Шиллера и Гёте. – *И.В.*)... трепет голосового органа... какая-то характерная торопливость на самом драматическом месте – неподражаемы»¹⁷⁷.

Это пишет тот же Садовников. Он лишь передаёт общее ощущение, подтверждаемое и другими слушателями: «Не я одна – весь зал был взволнован. Я помню, как нервно вздрагивал и вздыхал сидевший подле меня незнакомый мне молодой человек, как он краснел и бледнел, судорожно встряхивая головой и сжимая пальцы, как бы с трудом удерживая их от невольных рукоплесканий».

Рукоплескания всё же загремели – ещё до конца чтения. Они «как будто разбудили Достоевского. Он вздрогнул и с минуту неподвижно оставался на месте, не отрывая глаз от рукописи. Но рукоплескания становились всё громче, всё продолжительнее. Тогда он поднялся... и, сделав общий поклон, опять стал читать»¹⁷⁸.

«Такого чтения я не слышал никогда, ни прежде, ни потом, – говорит ещё один очевидец. – Это было не чтение, не актёрская игра, а сама жизнь, – большой эпилептический бред»¹⁷⁹. (Кажется, в первый и последний раз та самая формула («эпилептический бред»), которую без зазрения совести прилагали к автору «Карамазовых» желавшие *обругать* его критики, употреблена в качестве *комплимента*.)

Теперь А. П. Filosofova уже не жалела, что он не исполнил её просьбы. «Боже, как у меня билось сердце... Я думаю, и все замерли... Мы все рыдали, все были преисполнены каким-то нравственным восторгом. Всю ночь я не могла заснуть и, когда на другой день пришёл Фёдор Михайлович, так и бросилась к нему на шею и горько заплакала.

– Хорошо было? – спрашивает он растроганным голосом. – И мне было хорошо, – добавил он»¹⁸⁰.

Это была победа. Новый роман, только начатый, ещё «дымящийся», получал первое признание.

«Когда он кончил, – пишет К. П. Ободовский, – все были ошеломлены. С полминуты длилось молчание, и затем гром аплодисментов, не смолкавший $\frac{1}{4}$ часа, потряс залу»¹⁸¹.

Его вызывали пять раз.

Чему радовался Страхов?

В чём же причины этого небывалого успеха? В личности ли самого чтеца, которая, конечно, оказывала колоссальное воздействие на аудиторию, в художественных ли достоинствах произносимого вслух текста или ещё в чём-то неназванном, но смутно сознаваемом? Разумеется, эстетический эффект был сам по себе достаточно впечатляющ. Но, видимо, не только он решал дело. В конце концов, у Достоевского были и другие романы – со страницами не менее сильными, и он читал их с эстрады, но никогда прежде не добивался ничего подобного.

¹⁷⁷ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 75.

¹⁷⁸ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 539. Это мемуарное свидетельство подтверждается газетным отчётом: «В одном месте даже наша публика, холодная и шепетильная, не выдержала и прервала чтение взрывом рукоплесканий» (Голос. 1879. 11 марта. № 70).

¹⁷⁹ Гнедич П. П. Указ. соч. С. 122.

¹⁸⁰ Сборник памяти А. П. Filosofoвой. Т. 1. С. 259. Ср. письмо Достоевскому О. А. Новиковой от 10 марта 1879 г.: «А вчера вы читали великолепно: сердце радовалось. Но как это не нашлось доброго человека, – добавляет эта темпераментная консервативная публицистка, – чтоб посоветовать Салтыкову прочесть что-нибудь другое: всё было бы лучше!» (Литературное наследство. Т. 86. С. 473).

¹⁸¹ Исторический вестник. 1893. Декабрь. С. 775.

«В нашей вялой форменной жизни, – писал «Голос», – так редки выражения общественных чувств и общественной мысли, что те овации, которые происходили вчера на этом вечере, казались чем-то необычайным. Они производили освежающее впечатление...»¹⁸²

Дело было во времени.

Отзывчивая ко всякому духовному движению русская публика 1879 года чутко улавливала в бытовых и любовных линиях нового романа тот самый подспудный «мировой» смысл, который входил в плоть и кровь поколения, в состав самой жизни, споткнувшейся в своём мерном течении и поставившей, как любил говорить Достоевский, вопрос «у стены»: что дальше? «И вдруг, – пишет Тимофеева, – всё в нас чудодейственно изменилось: мы вдруг почувствовали, что не только не надо нам «погодить», но именно нельзя медлить ни на минуту...»¹⁸³

Немало удивился бы Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, если бы вдруг узнал, что то, о чём он мрачно повествовал с эстрады, каким-то странным образом «замыкалось» на новый роман его давнего идейного оппонента. Но именно так восприняли это слушатели. Время как бы сокупило смыслы, обретавшиеся вдали друг от друга, и устремило их к общему – пусть отдалённому – горизонту. Сиюминутное, насущно необходимое и «конечное», общемировое естественно входило в единый круг жизни, не противоборствуя, но перекликаясь между собой.

К «ненормальным» карамазовским разговорам начинали жадно прислушиваться.

И хотя Тургенева, мастерски прочитавшего «Бурмистра», приняли не менее восторженно, его успех имел совсем иной характер. В Тургеневе чтили прошлое (да и сам рассказ, выбранный им для чтения, был почти тридцатилетней давности); его чествовали как славную, но уже отчасти «музейную» национальную реликвию.

В Достоевском – угадывали будущее.

Вечер 9 марта сделался событием. И Николай Николаевич Страхов, аккуратно извещавший Л. Толстого о новостях столичной жизни, не преминул отметить это обстоятельство. «И здесь, и в Москве очень много возились с Тургеневым, – пишет он 11 марта в Ясную Поляну. – Третьего дня было литературное чтение, и меня порадовало, что публика встретила Достоевского с таким же восторгом, как Тургенева, – Салтыкову же хлопали очень мало»¹⁸⁴.

О том же спустя месяц Страхов пишет А. А. Фету: «У нас здесь восхищались Тургеневым и Достоевским. Вы, верно, читали описание этих неслыханных торжеств. Достоевский в первый раз получил овации, которые поставили его наряду с Тургеневым. Он очень рад»¹⁸⁵.

Но вот вопрос: рад ли сам Страхов? Вернее, радуется ли он за Достоевского? Об их отношениях речь впереди. Здесь же заметим, что Страхову неплохо удавалось скрывать глубоко затаённую неприязнь к своему давнему приятелю. Недаром Микулич, сумевшая, как мы помним, несмотря на свои юные годы, подметить глубокий контраст между Страховым и Достоевским, тут же преспокойнейшим образом замечает: «Елена Андреевна (Штакеншнейдер. – И.В.) очень любила Достоевского и благоговела перед его умом и талантом. Но, сколько мне помнится, только она да Страхов так любили его»¹⁸⁶.

Елена Андреевна действительно любила автора «Карамазовых»: об этом убедительно свидетельствуют её дневниковые и мемуарные записи. Страхов, будучи сам человеком умным и тонким, остро восприимчивым к чужой одарённости, конечно же, понимал, что

¹⁸² Голос. 1879. 11 марта. № 70.

¹⁸³ Исторический вестник. 1904. Февраль. С. 539.

¹⁸⁴ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 213.

¹⁸⁵ Русское обозрение. 1901. Вып. 1. С. 97.

¹⁸⁶ Микулич В. Указ. соч. С. 16.

есть Достоевский. Однако *любить* его он не мог (о чём в свою очередь свидетельствуют как его воспоминания, так и печально знаменитый к ним комментарий – письмо Толстому от 28 ноября 1883 года). Не исключено, правда, что порою он пытался себя *заставить* (борясь, по его собственным словам, с подымавшимся в нём отвращением), но – безуспешно.

Перед Толстым можно было «обнажиться» – и он признаётся ему (в том же письме от 11 марта, где он *радуется*, что публика горячо встретила Достоевского): «Я Тургенева и Достоевского – простите меня – не считаю людьми, но Вы – человек...»¹⁸⁷

Чему же тогда радуется Страхов? Да только тому, что Достоевский получил перевес против Салтыкова и равенство с Тургеневым как представитель известного направления. Для него существенно лишь то, что разъединяет Достоевского с Тургеневым и Салтыковым, и он знать не хочет ничего о том, что сближает всех троих в глазах рукоплещущего зала.

Эта тяга к сближению, продиктованная не столько доводами рассудка, сколько мощным общественным инстинктом, будет прокладывать себе дорогу через бурные перипетии 1879–1880 годов, чтобы явить всю силу и всё своё бессилие в упоительные дни пушкинских торжеств. Но это произойдёт ещё не скоро. А пока овации петербургской публики не в состоянии заглушить того «неверного звука», который неизбежно должен был возникнуть при сопряжении в одном жизненном круге таких диссонирующих величин, как Тургенев и Достоевский.

Скандал разразился через три дня.

Вечер второй (тургеньевский обед)

Через три дня состоялся традиционный литературный обед.

Литературные обеды вошли в моду совсем недавно. «Припоминаю, – пишет Анна Григорьевна, – что в начале 1878 года Фёдор Михайлович бывал на обедах, которые устраивались каждый месяц Обществом литераторов в разных ресторанах: у Бореля, в “Малоярославце” и др... Здесь Фёдор Михайлович встречался со своими самыми заклятыми литературными врагами. За зиму (1878 года) Фёдор Михайлович побывал на этих обедах раза четыре и всегда возвращался с них очень возбуждённым и с интересом рассказывал мне о своих неожиданных встречах и знакомствах»¹⁸⁸.

Возбуждение Достоевского понятно: встреча с литературным врагом (тем паче «заклятым») всегда вызывает известный душевный подъём.

Натурально, обеды устраивались не с этой целью: они имели в виду соединить – хотя бы за пиршественным столом – разрозненные культурные силы. «Обеденная территория» должна была являться в этом смысле ничейной землёй.

Местом встречи был избран ресторан Бореля на Большой Морской.

На сей раз застолье сильно отличалось от ежемесячных трапез, устраиваемых петербургскими литераторами в своём достаточно узком кругу. Прежде всего – чрезвычайным многолюдством: присутствовали более ста человек. Помимо известных и менее известных представителей изящной словесности и сотрудников столичной прессы здесь находились артисты императорских театров, университетские профессора, адвокаты, художники и т. д. И без того пёструю картину завершала одна хорошенькая натурщица, поражавшая более солидную публику своим легкомысленным античным нарядом: после обеда предполагались «живые картины».

¹⁸⁷ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. С. 214.

¹⁸⁸ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 326.

Не было Салтыкова-Щедрина. «Говорить ли, – замечает по этому поводу А. С. Суворин, – что «Отеч. Записки» блистали своим отсутствием?»¹⁸⁹

Итак, литературный и учёный Петербург чествовал Тургенева. Список ораторов (а их было более двадцати!) выглядел внушительно: ректор Петербургского университета Бекетов, писатели Потехин и Григорович, академик Грот, профессора Кавелин и Сухомлинов, историк Костомаров, издатель «Недели» Гайдебуров (он же – распорядитель обеда), оба Градовских (профессор и публицист) и, наконец, такие светила русского суда, как Таганцев и Спасович.

Это был цвет либеральной интеллигенции.

Сам виновник торжества, как свидетельствует портрет, набросанный наивной, но доброжелательной кистью, выглядел превосходно: «То же румяное, полное, здоровое лицо, те же осмысленные анализирующие глаза, та же медленная... походка, те же густые и нежные патриархальные седины, великолепно убирающие всю его круглую голову – голову колосса, поддерживающего целый храм...» – в этом описании звучат почти гомеровские метры.

«Немедленно после супа, – повествует добросовестный хроникёр, – началось сигнальное бряцание бокалов и тарелок»¹⁹⁰. Это был призыв к тишине. Молодой и мало кому известный Л. Оболенский (будущий издатель «Мысли» и «Русского богатства») приветствовал гостя весьма двусмысленными стихами:

Ты не забыт ни юностью родной,
Ни русской женщиной, ни прессой,
Хотя давно живёшь в стране чужой
Вдали от «роз» российского прогресса.

По свидетельству автора этих стихов, поначалу Тургенев «прикрыл глаза рукой, как бы смутясь от неловкости вступления, но к концу его лицо прояснилось...»¹⁹¹.

Громогласный и представительный Григорович заявил, что, только щадя скромность Тургенева, он умолчит о том, что делал последний «для многих своих товарищей, увлекаемый добротою сердца». Желая сказать *красиво*, оратор выразился довольно рискованно. «Если, – припомнил он одно давнее сравнение, – поставить Тургенева против окна и раздеть его, – он будет светиться как кусок хрусталя – так чист он нравственно между нами»¹⁹².

Спасович также превознёс виновника торжества, однако о прочем отозвался мрачно: «На часах нашей общественной жизни стоит час полуночный, пора всяких искушений, соблазнов и падений».

Тургенев счёл необходимым чуть позже мягко поправить оратора, заметив, что «там нет ночи, где есть Лев Толстой, Гончаров, Достоевский, Писемский»¹⁹³.

Достоевский был упомянут ещё единожды – в спиче несколько разгорячённого обедом Валериана Панаева, которого, впрочем, мало кто слушал. «Я вижу, – старался перекрыть общий шум Панаев, – сидящими рядом с Иваном Сергеевичем, с одной стороны г. Кавелина,

¹⁸⁹ Новое время. 1879. 14 марта.

¹⁹⁰ П.В. (Васильев). Описание торжеств, происходивших в честь И. С. Тургенева во время пребывания его в Москве и Петербурге в течение февраля и марта 1879 г. Казань, 1880. С. 16.

¹⁹¹ Оболенский Л. Е. Литературные воспоминания и характеристики // Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 504. Ср.: Оболенский «сказал что-то похожее на стихи, но стихи подобных поэтов тем именно и бесценные, что они не затрудняют ни мысли, ни внимания, бесследно проносясь лёгким зефиром сквозь уши слушателей» (Коломенский Кандид. Вчера и сегодня. Чествование «человека сороковых годов» гг. учёными и литераторами // Новости. 1879. 18 марта).

¹⁹² Новости. 1879. 18 марта. Григорович приводит здесь по памяти слова И. И. Панаева.

¹⁹³ Новое время. 1879. 14 марта.

а с другой – г. Григоровича, а там, дальше, я вижу г. Достоевского; позвольте предложить тост в честь этих замечательных литературных деятелей сороковых годов»¹⁹⁴.

Достоевский действительно сидел «там дальше»; в отличие от большинства присутствовавших, он был во фраке.

Разумеется, бесполезно искать его имя в списке ораторов. До поры до времени он предпочитал помалкивать.

До поры до времени¹⁹⁵¹⁴⁸⁸.

Скандал с разных точек зрения

«Тургеневский обед, – свидетельствует хроникёр, – за исключением одного эпизода, о котором лучше умолчать, вышел радушным и торжественным праздником всей петербургской интеллигенции»¹⁹⁶.

О каком же эпизоде (дабы не омрачать общего светлого впечатления) желает умолчать восторженный летописец тургеневских торжеств? Хотя сам эпизод известен, существует несколько отличающихся друг от друга версий. Остановимся пока на одной из них – самой *литературной*.

Эта версия изложена в воспоминаниях Г. К. Градовского, появившихся в 1904 году, то есть через четверть века после описываемых событий. Градовский излагает ответную речь Тургенева (в которой, по его словам, было упомянуто о необходимости «увенчать здание») и далее пишет: «Взрыв рукоплесканий покрыл слова писателя; но громче их раздался шипящий, желчный возглас Ф. М. Достоевского. Он подскочил к Тургеневу с трудно передаваемой раздражительностью и злобно кричал:

– Повторите, повторите, что вы хотели сказать, разъясните прямо, чего вы добиваетесь, что хотите навязать России!..

Тургенев отшатнулся, выпрямился во весь свой рост, подавлявший небольшого и тщедушного Достоевского, и развёл руками тем жестом, которым выражают глубочайшее недоумение и негодование.

– Что я хотел сказать, то сказал... Надеюсь, все меня поняли... А на ваш допрос, хотя бы и с пристрастием, отвечать не обязан!

Таков был ответ Тургенева. «Поняли, поняли!» – раздались голоса... Многие были возмущены неуместной выходкой Достоевского, и все были огорчены плохой развязкой тургеневского чествования»¹⁹⁷.

Сцена впечатляющая. Набросанная пером в своё время очень популярного публициста, она полна «эффектных» художественных подробностей: маленький, тщедушный, злобно шипящий Достоевский, словно моська на слона, бросается на автора «Записок охотника», явно подавляющего его своим физическим и моральным превосходством.

¹⁹⁴ С.-Петербургские ведомости. 1879. 16 марта.

¹⁹⁵ Достоевский, очевидно, был на обеде один – без Анны Григорьевны. Ю. Д. Засецкая пишет Анне Григорьевне 14 марта 1879 года: «Надеюсь, что вы скоро поправитесь, при такой погоде трудно быть здоровой»¹⁴⁸⁸. Скорее всего Анна Григорьевна отсутствовала по нездоровью. Кто знает, будь она на обеде, может быть, события приняли бы менее драматический оборот.

¹⁴⁸⁸ Литературное наследство. Т. 86. С. 474.

¹⁹⁶ Описание торжеств, происходивших в честь И. С. Тургенева... С. 15.

¹⁹⁷ Исторический вестник. 1904. Январь. С. 111. В 1909 г. шестидесятипятилетний Градовский приехал к Толстому в Ясную Поляну. Д. Маковицкий записал в дневнике: «Очень робел перед Л.Н. и умилялся, восторгался им... Л.Н. был Градовскому приятен, но Градовский не был ему интересен: насквозь либерал» (Литературное наследство. Т. 90. Москва, 1979. С. 64–65).

Во внутреннем обозрении апрельской (1879 года) книжки «Вестника Европы» тургеневскому обеду тоже уделено достаточно большое место. Судя по всему, текст принадлежит человеку, на обеде присутствовавшему. Имя Достоевского прямо не упомянуто, но сделанный намёк более чем прозрачен.

«Даже самый этот эпизод, — пишет «Вестник Европы», — послужил новым поводом к одушевлённой демонстрации со стороны огромного большинства представителей печати против лиц, неискусно взявшихся за неблагодарное дело, — подвергнуть искусству Тургенева: “Скажите же теперь, — заключал один оратор своё обращение к нему, — какой же ваш идеал? Говорите!” — и, не дождавшись ответа, отвернулся и пошёл прочь... Тургенев успел дать ответ, но этот ответ мог быть только виден находившимся вблизи, так как ответ был без слов: Тургенев опустил низко голову и развёл руками. Правда, что тут ничего и не оставалось, как развести руками; но общество было менее терпеливо, и со всех сторон раздались восклицания, обращённые к Тургеневу: “не говорите! знаем!” Чей-то голос попытался было взять сторону того оратора: “Нет, вы не знаете!” — но был заглушён новыми восклицаниями».

Далее автор добавляет, что Тургенев промолчал «по той же причине, по которой, например, ему трудно было бы решиться на издание своего «Дневника писателя» в подражание г-ну Достоевскому, — хотя, по нашему мнению, Тургенева удерживает от этой счастливой мысли вовсе не то, чтобы он мог опасаться неуспеха»¹⁹⁸. Таким образом, имя Достоевского всё-таки всплывает (после чего «расшифровка» эпизода уже не составляла для искушённого российского читателя особого труда).

Здесь интересны три момента. Во-первых, как можно понять из текста, вопрос, заданный Достоевским, «заключал» собой более или менее пространное обращение его к Тургеневу. Но скорее всего именование автора вопроса «оратором» — не более чем риторическая фигура. Во-вторых, Достоевский спрашивал Тургенева *об идеале*. И в-третьих, выясняется, что Тургенев ограничился ответом чисто мимическим, так что тирада, вложенная Градовским в его уста, — плод его позднейшего воображения.

Можно привести два аргумента в пользу достоверности изложенного в «Вестнике Европы»: 1) эпизод передан сразу по горячим следам; 2) «Вестник Европы» — орган, наиболее близкий Тургеневу, и не приходится сомневаться, что некоторые подробности (или, по крайней мере, их «редактура») исходят от него самого.

До сих пор свидетельство «Вестника Европы» считалось единственным упоминанием «обеденного инцидента» в русской периодической печати. Действительно, в петербургских газетах за ближайшие после 13 марта дни о нём не говорится ни слова. Ничего не сообщает об инциденте и газета «Новости». Но не сообщает лишь в своих первых отчётах. 18 марта в газете появляется статья «Вчера и сегодня. Чествование “человека сороковых годов” г.г. учёными и литераторами». В этой статье, подписанной псевдонимом Коломенский Кандид (В. О. Михневич), инциденту уделено некоторое внимание.

«Речь Ивана Сергеевича, — пишут «Новости», — произвела целую бурю; все встали из-за стола и с бокалами в руках бросились к нему с выражением приветствий... Но и здесь дело не обошлось без “оригинального эпизода”».

Далее излагается сам эпизод.

¹⁹⁸ Вестник Европы. 1879. Апрель. С. 822. С. А. Венгеров тоже присутствовал на обеде и тоже оставил свои воспоминания. Во-первых, он рассказал об этом эпизоде А. С. Долинину (*Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы. Сб. 2. С. 362*), а во-вторых, осенью 1918 г. упомянул о нём в одном юбилейном интервью. Тургенев «говорил “об увенчании здания” реформ Александра II, — вспоминает Венгеров. — Под “увенчанием здания” подразумевалась конституция. Все превосходно поняли, в чём дело, и только Достоевский поставил вопрос ребром: “Что значит увенчание здания?”» (*Р. Четыре встречи с И. С. Тургеневым (Беседа с профессором С. А. Венгеровым) // Бирюч петроградских государственных театров. 4–15 ноября 1918 г. № 2. С. 43*). Это редкое и малодоступное издание (состоящее в основном из театральных программ) представляет собой тонкую брошюру карманного формата. Данный выпуск был приурочен к 100-летию со дня рождения Тургенева. В передаче Венгерова вопрос Достоевского выглядит (хотя бы по форме) несколько иначе, чем у Градовского.

«Среди общего одушевления к Ивану Сергеевичу подошёл Фёдор Михайлович Достоевский и со строгим, почти негодующим лицом поставил ему вопросный пункт: что такое и в чём заключается провозглашённый им идеал? Г. Достоевский настойчиво требовал сейчас же дать ему на сей пункт обстоятельное “показание”; но эта странная и неуместная выходка была встречена всеобщим протестом»¹⁹⁹.

Такова картина, нарисованная Коломенским Кандидом и в общем совпадающая с версией «Вестника Европы». Однако в идеологической ретроспективе инцидент приобретает *зловещий* характер, а через четверть века обрастает затейливыми художественными деталями.

Исторической памяти не противопоказано воображение: желательно только, чтобы и оно было историчным.

«...Какой же ваш идеал?..»

Во всех источниках, запечатлевших прискорбный случай на тургеневском обеде, подчёркивается возмущение присутствовавших. Их нетрудно понять. Но попытаемся понять и Достоевского.

Для этого прежде всего следует обратиться к тексту самой тургеневской речи.

Автограф речи неизвестен, хотя он несомненно был, ибо Тургенев говорил по написанному²⁰⁰. Через день речь появилась в «Молве», а затем была перепечатана другими изданиями.

В своём умеренном по тону, искусно сбалансированном застольном слове Тургенев заявил, что «есть, наконец, идеал не отдалённый и не туманный, а определённый, осуществимый и, может быть, близкий... Мне не для чего указывать более настойчивым образом на этот идеал, – продолжал Тургенев, – он понятен вам и в литературе, и в науке, и в общественной жизни»²⁰¹.

Вопрос Достоевского – «скажите, какой же ваш идеал?» – скорее всего обращён именно к этому месту речи.

Справедлив ли автор вопроса, ставя его столь категорично?

В силу объективных причин Тургенев был вынужден изъясняться намёками. Он в данном случае поступал так же, как и сам Достоевский, который тоже не смог бы полностью обозначить *свой* идеал. Идеология Тургенева не могла быть выражена в обеденном тосте, равно как идеология Достоевского – в «вопросных пунктах» к этому тосту: их взгляды – в полном объёме – неотделимы от контекста всего их творчества.

...Слухи о том, что произошло в зале ресторана Бореля, быстро распространились по Петербургу. 18 марта генерал А. А. Киреев записывает в дневнике: «На днях на большом обеде, данном Тургеневу представителями литературы, он произнёс тост за те идеалы, которым сочувствует молодое поколение; Достоевский к нему обратился с вопросом: «Что это за идеалы?» Присутствовавшие не дали Тургеневу ответить: «Мы знаем, мы понимаем...» Потом Тургенев сказал Достоевскому, что дело шло о конституции...!!»²⁰²

Если верить Кирееву, между Тургеневым и Достоевским позднее состоялось какое-то *объяснение*. Что, впрочем, маловероятно.

¹⁹⁹ Новости. 1879. 18 марта. № 70.

²⁰⁰ См.: Исторический вестник. 1904. Январь. С. 111. Ср.: «Сам Тургенев прочёл заранее заготовленное слово...» (Новости. 1879. 15 марта); «Увы, русские люди сороковых годов, как и мы грешные (если не считать г.г. «прелюбодеёв мысли»), не мастера говорить публично ораторские речи. Иван Сергеевич не говорил, а читал свою заранее написанную речь по рукописи...» (Новости. 1879. 18 марта).

²⁰¹ Молва. 1879. 15 марта.

²⁰² Литературное наследство. Т. 86. С. 475.

Такова видимая сторона, внешний рисунок инцидента, случившегося на тургеневском обеде. Но, может быть, дело обстоит не столь просто и здесь присутствовали ещё иные, скрытые причины? Что побудило Достоевского публично совершить этот действительно бестактный во всех отношениях поступок?

Два ряда тесно соотнесённых между собой и в конце концов сходящихся факторов помогают понять поведение Достоевского: ряд, так сказать, литературно-психологический (более или менее интимный) и ряд мирозерцательный, идейный. Остановимся пока на последнем.

Идеал Тургенева – конституционная монархия, монархия умеренно-либеральная, ограниченная рядом представительных учреждений. Достоевский – последовательный противник конституции в её «тургеневском» понимании, противник буржуазных парламентских институтов, противник европейского конституционализма. Если исходить из этих *формальных* признаков, автор «Дневника писателя» оказывается гораздо правее Тургенева: позиция последнего, с точки зрения общественного прогресса, куда предпочтительнее.

Но тут мы сталкиваемся с одним из глубочайших парадоксов Достоевского. Его историческая концепция абсолютно не поддается прочтению (или читается не так), если применять к ней «обычные» социологические критерии. Ибо «социология» Достоевского не выносит ни малейшей формализации: она не только самобытна и личностна, но – и это главное – предполагает решительный выход из той системы идеологических координат, в которых привычно вращалась русская либеральная мысль.

Нам уже приходилось говорить, что идеология Достоевского не есть случайное и хаотичное нагромождение парадоксов (когда магическим, столь удобным в идейном пользовании словом «противоречие» можно объяснить всё, что угодно), а определённая система, иными словами – обладающий собственными закономерностями *единый идейный парадокс*.

Истоки этого парадокса таятся в глубинах русской истории, в «странном», уклончивом и скачкообразном движении русского общественного сознания.

Если исходить всё из тех же формальных признаков, «антиконституционалист» Достоевский оказывается в одном ряду с такими деятелями, как Катков и Победоносцев: во всяком случае, внешне это выглядит именно так. Но как только от взгляда «в первом приближении» мы попытаемся перейти к более объёмным сопоставлениям, это видимое сходство мгновенно поколеблется.

Существует глубокая черта между отношением к власти (светской и духовной) Победоносцева и Каткова, с одной стороны, и Достоевского – с другой. Для первых любое ограничение самодержавия есть посягновение на *принцип*, ущерб и умаление власти как таковой. Самодержавие необходимо для охранения самого себя, *для самосохранения*, для поддержания своего внешнего авторитета, для удержания в повиновении и подавлении всего того, что могло бы эту власть разрушить.

Все эти «государственные» мотивы начисто отсутствуют у Достоевского. Поразительно, но факт: его концепция самодержавия неразрывнейшим образом связана с идеей народной свободы.

В своем некрологе-воспоминании А. С. Суворин писал: «У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и всё это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходов, и он прибавлял: “полная”»²⁰³.

На первый взгляд, свидетельство Суворина представляется невероятным. Однако оно находит сильнейшее подтверждение у самого Достоевского. «Свободы истинной, а не номинальной! К черту республику, если она деспотизм!»²⁰⁴ – записывает он в 1874 году.

²⁰³ Новое время. 1881. 1 февраля.

²⁰⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 359.

Свобода – главный критерий, который Достоевский прилагает к своему идеалу монархии. Причём свобода в смысле всеобъемлющем, почти глобальном, и уж во всяком случае намного превышающая те отдельные, специальные «свободы», которые может гарантировать «обычная» либеральная монархия.

Это одна из самых «фантастических» идей Достоевского. Речь у него идёт не о том, что есть, а о том, что должно быть, что подразумевается в «высшем смысле».

Последний шанс

И Пушкин в «Стансах», и Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями», и Достоевский в своём «Дневнике писателя» создают, по сути дела, некий идеализированный образ монарха, имеющий мало общего с реальными представителями русского императорства.

Но, «передоверяя» самым косным историческим институтам свою радикальнейшую этическую программу, Достоевский тем самым ставит их дальнейшее существование в тесную зависимость от способности воплотить эту программу в жизнь.

Это не что иное, как ещё одна утопическая, обречённая на неудачу попытка «идейного опекунства» над властью – традиция, восходящая ещё к Пушкину и его кругу²⁰⁵ и завершённая в Достоевском. Это последняя (в русской литературе) попытка такого рода.

Самодержавию даётся последний шанс.

Реальный ход русской истории сыграл злую шутку с подобными представлениями. К началу XX столетия российское самодержавие успело скомпрометировать себя буквально по всем линиям: в политическом, экономическом, военном и нравственном отношениях.

Но в семидесятые годы XIX столетия царизм ещё пользовался определённым моральным кредитом. Пропасть между ним и громадным большинством нации ещё не представлялась столь зияющей. Недавно проведённое освобождение «сверху» открывало, по мысли Достоевского, великую возможность безреволюционного выхода из исторического тупика.

Его «фантастическая идея» соединяет в себе вещи органически несовместимые: самодержавие выступает как орудие нравственного переворота. Переворот этот должен не только способствовать обретению гражданских прав, но и повести к максимальной духовной раскрепощённости²⁰⁶. Абсолютная монархия становится гарантом абсолютной свободы.

В сложившиеся и малоподвижные исторические формы вносится внеисторическое нравственное содержание. Революционное по своему типу мышление вдруг «замыкается» на полуазиатскую государственную формулу; безоглядный порыв в будущее захватывает «по пути» древние атрибуты ничем не ограниченного единодержавия; упором для решительного исторического прыжка служит именно то, что более всего этому прыжку препятствует.

Здесь можно, пожалуй, провести одну аналогию.

В мировой «теоретической практике» уже встречалось нечто подобное. Это тот случай, когда вольный полёт «выточенной как бритва» диалектики заземляется на узком и достаточно «вытоптанном» историческом пятачке. Это мощная игра гегелевского «абсолютного духа», находящего своё завершение в скучном идеале скучной прусской монархии (тут уместно вспомнить карамазовского чёрта, мечтающего «окончательно» воплотиться в какую-нибудь семипудовую купчиху).

²⁰⁵ См.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». Москва, 1972.

²⁰⁶ Ср. запись в последней записной книжке: «...полная свобода вероисповеданий и свобода совести есть дух настоящего христианства. Уверуй свободно – вот наша формула. Не сошёл Господь со креста, чтобы насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести. Вот дух народа и христианства! Если же есть уклонения, то мы их оплакиваем» (Биография... С. 364, вторая пагинация).

Концепция Достоевского на первый взгляд – такой же исторический монстр, как и «государственная философия» Гегеля. Однако в отличие от гегелевских категорий эту систему ценностей вряд ли можно считать итогом тщательных рационалистических построений. Она строится на совсем иных основаниях.

В мире Достоевского происходит то, что можно было бы определить как «эстетизацию идеологии». Ни одно понятие не выступает у него в своём «чистом» идеологическом виде. Всё претерпевает некую художественную трансформацию, становится если не образом, то знаком, символом образа. Конечно, мы имеем дело с сильным и самобытным мыслителем; однако мыслитель этот мыслит прежде всего как художник.

В этой системе представлений такие понятия, как «народ», «свобода», «самодержавие» и т. п., выступают не в своём прямом (исторически определённом) значении, а обретают некий «дополнительный» художественный смысл.

На тургеневском обеде столкнулись два типа мирочувствования.

Тургенев, говоря об идеале, имел в виду конституцию, то есть формальный законодательный акт, дарующий образованному обществу известные политические права. Для Достоевского обретение политических привилегий *только* «образованным меньшинством» являлось бы посягновением на будущую свободу основного состава нации («серых зипунов»), которых «конституция» вовсе не принимает в расчёт как самостоятельную национальную силу. Он против конституции не потому, что она может ограничить самодержавие, а потому, что она «ограничивает» народ, исключая его из реальной исторической жизни.

«Конституция, – записывает он в последней тетради. – Да вы будете представлять интересы нашего общества, но уж совсем не народа. Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать!»²⁰⁷

Пушки против народа – вот что означает для Достоевского победа буржуазного парламентаризма. Такое представительство не есть народное дело, это дело «белых жилетов», стоящих над народом и не имеющих с ним ничего общего.

«А что коль из белых жилетов выйдет лишь одна говорильня? – спрашивает он в последнем «Дневнике писателя». – ...Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, скажут они, а те, остальные (то есть вся-то земля), пусть и тем довольны будут, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и «поучим народ его правам и обязанностям» (это они-то собираются поучать народ его правам и, главное, – обязанностям! Ах шалуны!)»²⁰⁸.

В 1906 году, к двадцатипятилетней годовщине со дня смерти Достоевского, В. Ф. Пуцыкович опубликовал в одной берлинской газете свои воспоминания. По его словам, говоря о «нашем будущем национальном представительстве», Достоевский разумел «наши земские соборы или что-нибудь несколько обновлённое, то есть вроде зарождающейся теперь государственной думы»²⁰⁹.

В 1906 году Виктору Феофиловичу Пуцыковичу было шестьдесят три года. Переживший свой век консервативный публицист (из второго эшелона русских охранителей), он тоже принимает посильное участие в дележе великого наследства.

Но «вольный пересказ» не совпадает с текстом.

Что же предлагает Достоевский? Может быть, сохранить *status quo*, отказаться от каких бы то ни было решений, то есть, изъясняясь слогом князя В. П. Мещерского, поставить точку к реформам или – что то же, – по крылатому выражению Константина Леонтьева, «подмо-

²⁰⁷ Литературное наследство. Т. 83. С. 683.

²⁰⁸ Дневник писателя. 1881. Январь. Финансы...

²⁰⁹ Пуцыкович В. Предсказания Достоевского о конституции и революции в России // Берлинский листок. 1906. 25 января.

розить Россию»? Или же действительно, как полагает Пуцыкович, созвать для уврачевания отечественных скорбей нечто вроде Первой Государственной думы?

То, что предлагает Достоевский, не имеет с этими проектами ничего общего.

«Увенчание снизу»

Он пишет: «Вот и начали все кричать об увенчании здания, забыв, что и здания-то ещё никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего... если уж и начать его (увенчание. – *И.В.*), гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета»²¹⁰.

Говоря об «увенчании здания» (этот эвфемизм заменял обычно неудобопроизносимое слово «конституция»), Достоевский повторяет именно ту формулу, которую согласно некоторым мемуарным источникам употребил в своей речи Тургенев.

Его собственные предложения простираются гораздо дальше. Участникам тургеневского обеда не приходило в голову подвергать сомнению само здание, то есть всю систему русской государственности. Достоевский же поступает именно так.

Он верен себе: отстаивающая консервативные начала русской жизни, его программа радикальна по своей нравственной сути. Она предполагает национальное строение, основанное на прямом и непосредственном народоправстве – как первом шаге к осуществлению безгосударственного идеала («церкви»).

«...Есть одно магическое словцо, – говорит автор «Дневника писателя», – именно: “Оказать доверие”. Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»²¹¹.

Народ – альфа и омега всей историософии Достоевского. «У нас либеральнее (чем завершение здания), – отмечает он в подготовительных записях к последнему «Дневнику». – У нас прежде всего народ спросить и только народ»²¹².

Здесь за скобками оказывается не одна либеральная интеллигенция: за скобками остаются всё дворянство, чиновничество, центральная и местная бюрократия и, наконец, духовенство. Иными словами, в совете «всей земли» не участвует ни один из «надстроечных» элементов государства.

Русский царь, немыслимый без «обставляющих» его и исполняющих его волю государственных институтов, остаётся с народом лицом к лицу.

Но в этом случае так ли необходим он сам?

Для Достоевского подобный вопрос прозвучал бы кощунственно. Но если исходить из его собственных представлений, то в этой системе одно звено «невольно» оказывается лишним: как раз то, которое, по мысли автора «Дневника писателя», скрепляет всё.

Лишнее звено

Это «звено» – носитель верховной государственной власти. То есть именно тот, на кого Достоевский делает ставку, пожалуй, не меньшую, чем на народ. Царь – «отец», народ – «дети», и если так, то только царь, и никто другой, способен оградить интересы народа и его

²¹⁰ Дневник писателя. 1881. Январь. Финансы...

²¹¹ Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

²¹² Литературное наследство. Т. 83. С. 686.

свободу от посягательств сил, народу чуждых и враждебных: от притязаний аристократии, всеисилия бюрократии и корыстолюбия буржуазии.

Русский абсолютизм становится гарантом русского народоправства: царь выступает в союзе с народом – против его исконных врагов.

Но «очищенный», изъятый из своей собственной социальной стихии самодержавный монарх (лишённый к тому же «привычных» рычагов управления) превращается в миф, абстракцию, нонсенс.

Излишне было бы говорить об идеализации Достоевским исторической природы самодержавия: это очевидно. Но столь же очевидно, что отчаянная попытка привить формы самой крайней, «сверхгосударственной» демократии к многовековой практике российского абсолютизма не могла не вызвать у автора этой идеи сильнейшие нравственные затруднения.

«Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царёвым, – заносится в последнюю тетрадь и добавляется: – ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит»²¹³. «Что-то очень уж долго не верит» – эта сердитая, нетерпеливая, не предназначенная для «чужих» обмолвка выдаёт не только авторский темперамент, но и некоторое авторское разочарование в стратегии «верхов».

«Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит...» Служение предполагается не безоговорочное, но на известных условиях. А если *не* поверит? Достоевский старается об этом не думать – в данном вопросе он как бы заставляет себя стать на народную (исключительно) точку зрения: «Он (народ. – *И.В.*) не понимает, как монарх может его бояться, а поэтому не дать ему всей возможной гражданской свободы»²¹⁴.

Этого не желает понимать и сам Достоевский. Он как бы вменяет себе «массовый» (по его мнению) взгляд на носителя верховной власти и прилагает поистине титанические усилия, чтобы интегрировать, «вписать» абсолютного монарха в свою историческую утопию²¹⁵.

Но, повторяем, – это звено оказывается лишним.

Ибо если следовать внутренней логике того самого миропорядка, о котором печётся Достоевский, то в нём не остаётся места для русского самодержца. У общества, в котором на деле осуществлена полная духовная солидарность, нет необходимости в отделённом от него самого и вознесённом над ним носителе религиозного или национального духа.

Более того: если бы когда-нибудь российское самодержавие вздумало провести в жизнь ту этико-историческую программу, которую «передоверяет» ему Достоевский, это повело бы к его немедленному самоуничтожению. Историческая государственность была бы взорвана изнутри «внеисторическим» нравственным идеалом.

«Скажите теперь, какой ваш идеал?» – вопрошал он Тургенева, и «Вестник Европы» не без остроумия комментировал, что это – «пародия на великую историческую сцену: «рцы убо нам, достойно ли есть дати кинсон кесареви или ни» (то есть «скажи нам, можно ли или нет давать подать кесарю». – *И.В.*) – с присоединением к фарисейству мимики Пилата, задавшего вопрос и не дождавшегося ответа»²¹⁶.

²¹³ Биография... С. 366 (вторая пагинация).

²¹⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 384.

²¹⁵ Эта подчёркнуто «народная» точка зрения отчётливо прослеживается в записях Достоевского, относящихся ещё к 1876 г.: «У нас никогда монархия не может быть тиранией в идеале – а лишь в уклонении» (Литературное наследство. Т. 83. С. 384). Ср. с приводившейся выше записью о свободе совести: «Если же есть уклонения, то мы их оплакиваем». В этой связи заслуживает внимания наблюдение Вяч. Иванова, что монархизм Достоевского был «славянофильский, утопический, оппозиционный современной ему форме самодержавия, утверждаемый не как независимое от народа и ему внеположное начало, но лишь во взаимодействии со свободно определяющейся народной волею и в целях осуществления наиболее «полной» народной свободы...» (*Иванов Вяч.* Родное и вселенское. Москва, 1917. С. 162–163).

²¹⁶ Вестник Европы. 1879. Апрель. С. 822.

Но справедливо ли обвинять Достоевского в своего рода идейном провокаторстве, если его вопрос носил заведомо риторический характер и был обращён не только к Тургеневу, а ко всей либеральной партии, причём без всякой надежды на убедительный ответ?

Да и что мог ответить Достоевскому Тургенев, если бы даже и захотел? Он лишь развёл руками: этот молчаливый жест означал, что они говорят на разных языках.

Изучение мотивов

«Хорош Достоевский! – восклицал Анненков в письме к Стасюлевичу, – не распознал у Тургенева идеалов и пожелал на обеде его выставить его пунцовым драконом, каковые китайцы пишут на своих знамёнах... А между тем люди эти (Достоевский и Салтыков. – *И.В.*) не Авсеенки и Маркевичи и, несомненно, высокие таланты и честные деятели»²¹⁷.

Достоевский упомянут рядом с Салтыковым: за обоими признается «честность», хотя оба не любят Тургенева (это Анненкову перенести трудно!). Автор письма не задумывается над тем, что и у Салтыкова и у Достоевского – при всей разности политических убеждений – могут существовать какие-то сходные мотивы в их неприязни к автору «Дыма».

И всё-таки: почему Достоевский задал свой вопрос, почему он решился на этот бестактный выпад, который – а он не мог этого не предвидеть – неминуемо должен был повлечь публичный скандал и поставить вопрошавшего в положение двусмысленное и неловкое? Почему он всё-таки сорвался?

Позволим высказать предположение, что этот рискованный шаг был прежде всего неожидан для самого Достоевского. Его вопрос – не рассчитанный и заранее взвешенный тактический ход, не тщательно спланированная (как, скажем, речь того же Тургенева) общественная акция, а – чистая импровизация, импульсивный порыв, эмоциональная реакция на происходящее.

Если бы Достоевский промолчал, он не был бы Достоевским.

«Общее чувство негодования... было так сильно, – вспоминает Венгеров, – что он должен был оправдываться и говорить: “Я ведь Тургенева очень ценю, я даже явился на обед во фраке...”»²¹⁸

В этих наивных и, думается, искренних оправданиях («ценю» ещё не значит «люблю»!) – тоже весь Достоевский. Он всё-таки явился на чествование своего давнего врага, он, по-видимому, хотел быть сдержанным и «политичным», он даже постарался подчеркнуть своё отношение к виновнику торжества «формой одежды». Он честно пытался соблюсти все правила дипломатического (обеденного) этикета, но – «нет жеста», как не было его в молодости. И – сорвался: фрак не помог.

Конечно, идейные причины сыграли в этом эпизоде первенствующую роль. Но был здесь и своеобразный катализатор, ускоривший развязку: личное недоброжелательство (которое в конечном счёте тоже имело общественную подоплёку).

В том самом письме 1867 года, где излагается история размолвки с Тургеневым, Достоевский замечает: «Не люблю тоже его аристократически-фарсёрское объятие, с которым он лезет целоваться, но подставляет Вам свою щёку. Генеральство ужасное...»²¹⁹

Вскоре после 13 марта 1879 года Л. Оболенский (тот самый, который на обеде приветствовал виновника торжества стихами) посетил Тургенева. Он так передаёт свои впечатле-

²¹⁷ М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. Т. 3. С. 367.

²¹⁸ Бирюч петроградских государственных театров. 1918. № 2. С. 44.

²¹⁹ *Достоевский Ф. М.* ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 210. Ср. свидетельство Стечкина, описывающего отъезд Тургенева из Петербурга, – как раз после его чествований в 1879 г.: «...на прощание сказал каждому по несколько приятных слов, а затем стал подставлять, точно обряд совершал, попеременно свои щёки для поцелуев» (*Стечкин Н. Я.* Из воспоминаний о Тургеневе (с приложением семи писем). Санкт-Петербург, 1903. С. 24).

ния: «Барин, чистокровный русский старый барин... Мне не понравилась даже его наружность, в которой нельзя было уловить никакого выражения, кроме вежливости, любезности и только. Что он чувствовал, что он думал, это оставалось тайной. Его вопросы о литературе, о новых её течениях были как-то мимоletны, в них не чувствовалось живого, глубокого интереса к русской жизни, как будто он был или совершенно равнодушен к этой жизни или уверен, что её знает вполне...»²²⁰

Подобный тип поведения диаметрально противоположен поведенческим принципам Достоевского, не знающего усредненно-вежливой, условно-безличной манеры общения.

Достоевский, как уже говорилось, не любил Тургенева.

Здесь не место останавливаться на «истории одной вражды», которая едва ли не началась в 1845 году пламенной дружбой. Затронем только один момент.

Достоевский не может принять Тургенева, помимо прочего, ещё и потому, что остро ощущает двойственность его общественного положения. Он записывает в 1875 году – «для себя»: «Вы продали имение и выбрались за границу, тотчас же как вообразили, что что-то страшное будет.» “Записки охотника” и крепостное право, а вилла в Баден-Бадене на чьи деньги, как не на крепостные выстроена?»²²¹

Запись злая и во многом несправедливая. Но в ней зафиксировано одно из главных обвинений – не столько даже в адрес самого Тургенева, сколько – людей его социального круга, обвинение, которое будет неоднократно повторено Достоевским в его публицистике и переписке.

Этот упрек обращён ко всему русскому дворянству: отъезд на крестьянские деньги за границу (обычное явление после 1861 года) под угрозой, «что что-то страшное будет», – этот отъезд равносителен эмиграции внутренней, духовной. Разрыв между либеральной (в значительной части помещичьей) интеллигенцией и народом тем более трагичен, что одна из сторон, по мнению Достоевского, склонна рассматривать другую лишь в качестве объекта для своих небескорыстных экспериментов.

Впрочем, он полагает, что этот грех лежит на всей интеллигенции в целом.

«Анекдот этот верен»

В черновых записях к седьмой книге «Братьев Карамазовых» слегка обозначен один мотив, который внешне никак не сказался в окончательном тексте. Автор набрасывает краткий и на первый взгляд не вполне понятный диалог.

«– Да народ не захочет.

Сем<инарист>: Устранить народ».

«Семинарист» – это, конечно, Ракитин. Его собеседник – Алёша Карамазов. Через несколько страниц мотив возникает вновь.

«Алёша: Да этого народ не позволит (как следует из контекста, речь идёт об упразднении религии. – И.В.).

– Что ж, – истребить народ, сократить его, молчать его заставить. Потому что европейское просвещение выше народа... (помолчал).

– Нет, видно, крепостное-то право не исчезло, – промолвил Алёша»²²².

²²⁰ Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 506.

²²¹ Литературное наследство. Т. 83. С. 374. Ср.: «Полевой поместил (приложил) в своей истории литературы картинку дома Тургенева в Баден-Бадене. Какое отношение имеет дом Тургенева в Баден-Бадене к русской литературе? Но такова сила капитала» (Там же. С. 394).

²²² Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 15. С. 254, 261.

Комментаторы Полного (академического) собрания сочинений Достоевского полагают, что «суждение Ракитина – перелицовка идей В. Зайцева»²²³. Это допустимо, хотя и не очень убедительно: вряд ли Достоевский текстуально помнил рецензию Варфоломея Зайцева, напечатанную в «Русском слове» шестнадцать лет назад (в ней, кстати, нет слов об «уничтожении народа»).

Никто не заметил того, что сам Достоевский вполне определённо указывает другой источник.

В единственном за 1880 год выпуске «Дневника писателя» он пишет: «Этого народ не позволит», – сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. – «Так уничтожить народ!» – ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен»²²⁴.

«Один собеседник – по одному поводу – одному ярому западнику» – эта задача с несколькими неизвестными тем меньше поддаётся решению, что её автор не оставил ни единого намёка, могущего хоть как-то помочь нам в этом деле.

И всё же попробуем разобраться.

Во-первых, следует обратить внимание на последнюю фразу. «Анекдот этот верен», – подобная категоричность как будто свидетельствует о том, что «анекдот» приведён не понаслышке: можно предположить, что автор лично при сём присутствовал. И тогда есть основания полагать, что «один собеседник» – это сам Достоевский. Но кто же тогда второй – «ярый западник»?

...Лето 1876 года Достоевский проводит в Эмсе, на водах. Его письма полны жалоб на скуку, отсутствие знакомых из России, одиночество. Поэтому случайная встреча с Григорием Захаровичем Елисеевым (одним из редакторов и обозревателем внутренних дел «Отечественных записок») и его женой (они первыми подошли к автору «Подростка», недавно опубликованного на страницах некрасовского журнала) отмечается в письме Анне Григорьевне как некоторое событие. «Впрочем, – добавляет Достоевский, – не думаю, чтоб я с ними сошёлся: старый «отрицатель» ничему не верит, на всё вопросы и споры, и, главное, совершенно семинарское самодовольство свысока. Жена его тоже, должно быть, какая-нибудь поповна, но из разряду новых «передовых» женщин, отрицательниц»²²⁵.

Остановимся сначала на жене.

Относительно её происхождения Достоевский ошибался. Екатерина Павловна Елисеева (урождённая Гофштеттер) происходила из семьи потомственных военных. По свидетельству хорошо знавшего её Скабичевского, «это была женщина невысокого роста, худощавая, крайне нервная, экспансивная, юркая и подвижная, как ртуть. Вечно она с кем-нибудь горячо спорила, в ажиотации спора начинала заикаться, что не мешало сыпаться из её уст речам как горох из мешка»²²⁶. М. А. Антонович в свою очередь отзывался об её «интеллигентном уровне» скептически²²⁷.

Теперь обратимся к мужу.

²²³ Там же. С. 615. Зайцевский текст действительно в высшей степени характерен: «Народ груб, туп и вследствие этого пассивен... Поэтому благоразумие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него, потому что народ... не может по неразвитию поступать сообразно с своими выгодами; если сознана необходимость навязывать насильно народу образование, почему ложный стыд перед демократическими нелепостями мешает признать необходимость насильного дарования ему другого блага... свободы» (Русское слово. 1863. № 7. Отдел II. С. 38–39). Ср. запись Достоевского в тетради 1876 г.: «Отрицаете, а не знаете, что сказать. Зайцев. Вы не похожи на прежних – Белинского, Герцена. Вы – торгующие либерализмом и выходящие в 1-ое число (имеются в виду ежемесячные журналы. – И.В.)» (Литературное наследство. Т. 83. С. 562).

²²⁴ Дневник писателя. 1880. Август. Объяснительное слово...

²²⁵ Достоевский Ф. М., Достоевская А. Г. Переписка. Москва, 1976. С. 234. (Далее: Переписка.)

²²⁶ Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. Москва, 1927. ЗИФ. С. 263.

²²⁷ См.: Шестидесятые годы. Москва, 1933. С. 230–231.

Известно, что при создании образа Ракитина автор «Карамазовых» использовал отдельные сюжеты биографии Г. З. Елисеева. Однако это ещё не даёт основания приписывать «прототипу» раkitинскую фразу о народе.

Но вернёмся к 1876 году. Отношения с четой Елисеевых складываются неровно. «Сегодня я Елисеевых на водах не встретил, – сообщает Достоевский. – Не рассердился ль он на меня за то, что я вчера кольнул семинаристов. Жена же его на меня положительно осердилась: она заспорила со мной о существовании Бога, а я ей между прочим сказал, что она повторяет только мысли своего мужа. Это её рассердило очень»²²⁸.

Разговоры ведутся с обоими супругами – на достаточно серьёзные темы и в достаточно острой форме. От вопроса о существовании Божьем вполне естественно перейти к рассуждению о том, чего «не позволит народ», – в соответствии с общим смыслом интересующей нас записи.

«Семинарист», «семинаристы» – настойчиво именует Достоевский супругов Елисеевых. Семинаризм в данном случае черта социально-психологическая. Намерения «семинаристов» относительно народа – всегда под подозрением. «Но может ли семинарист, – записывает он в том же 1876 году (несколькими месяцами ранее), – быть демократом, даже если б захотел того?»²²⁹

Вскоре отношения с четой Елисеевых портятся вконец. «Елисеевы, кажется, на меня рассердились и сторонятся. Дряннейшие казённые либералишки и расстроили даже мне нервы. Сами лезут и встречаются поминутно, и третируют меня, вроде как бы наблюдая осторожность: “Не замараться бы об его ретроградство”. Самолюбивейшие твари, особенно она, казённая книжка с либеральными правилами: “Ах, что он говорит, ах, что он защищает...”»²³⁰

Заметим, что главным оппонентом Достоевского выступает не столько сам Елисеев, сколько его экспансивная и, как сейчас бы выразились, боевитая супруга.

В воспоминаниях Суворина есть одно глухое и до сих пор не разгаданное указание. Автор воспоминаний передаёт слова Достоевского о его «литературных врагах»: «Они думали, что я погиб, написав «Бесов», что репутация моя навек похоронена, что я создал нечто ретроградное. Z (он назвал известного писателя), встретив меня за границей, чуть не отвернулся»²³¹.

Подозреваем, что не названный Сувориным по имени Z – всё тот же Г. З. Елисеев. И вот почему.

Во-первых, после написания «Бесов» Достоевский бывал за границей один, без Анны Григорьевны. В своих письмах к ней он подробнейшим образом излагает все детали своей небогатой происшествиями жизни. И уж, конечно, такое событие, как встреча с «известным писателем», не осталось бы неотмеченным.

Между тем в эпистолярных циклах Достоевского, связанных с его пребыванием за границей (после 1873 года), кроме Елисеева (а он по тем временам – довольно крупная литературная фигура) не упоминается ни одного писательского имени, которое могло бы быть подставлено на место таинственного Z.

И во-вторых. Выражение Достоевского «чуть не отвернулся» – как раз подходит к Елисееву (вернее, к Елисеевым). Ведь они, с одной стороны, «сами лезут и встречаются поминутно», но с другой – «сторонятся», «третируют... как бы наблюдая осторожность» и т. д. В

²²⁸ Переписка. С. 234–235.

²²⁹ Литературное наследство. Т. 83. С. 385.

²³⁰ Переписка. С. 243.

²³¹ Новое время. 1881. 1 февраля.

разговоре с Сувориным такое двусмысленное (или кажущееся Достоевскому двусмысленным) поведение могло быть обобщено: «*чуть* не отвернулся».

И всё-таки все эти косвенные «улики» не дают достаточных оснований для окончательного приговора.

Так кто же желает «уничтожить народ»?

Однако существует ещё один источник, на который, если мы не ошибаемся, вообще отсутствуют ссылки в работах о Достоевском. Речь идёт о записках забытого ныне литератора графа де Воллана. Автор записок следующим образом передаёт один из своих разговоров с писателем.

«Заговорили сначала о противоречии, в которое впали наши прогрессисты, отрицая народное славянское движение. «Они не любят народ, – сказал Достоевский, – они отрицают его и готовы уничтожить». Всё это он говорил шёпотом, таинственно, как будто в комнате находился больной. «Мы уничтожим народ, – говорит редактор «Отечественных записок» (?)»²³².

Немыслимо представить, чтобы кто-либо из редакторов «Отечественных записок» (Салтыков, Михайловский или Елисеев) всерьёз высказал подобную глупость (тем более вопиющую в устах руководителей *народнического* журнала). Вместе с тем слова, столь поразившие Достоевского, очевидно, были произнесены. Но кем и в каком контексте?

Конечно, подозрение прежде всего падает на Елисеевых – на них обоих, хотя *она*, понятное дело, вовсе не редактор «Отечественных записок». Но, как явствует из писем Достоевского, именно Екатерина Павловна выступает в качестве главной «ударной силы», именно она затевает идейные споры и против неё в первую очередь направлен его раздражительный гнев²³³.

Можно предположить, что именно Елисеева в полемическом задоре «брякнула» пресловутую фразу – возможно, в присутствии мужа. Позднее у Достоевского мог произойти сдвиг памяти – и фраза была переадресована «самому» Елисееву. (Это тем вероятнее, что, как отмечалось в его письме, «она повторяет только мысли своего мужа».)

Возможен и иной вариант. А именно – что фраза была всё-таки произнесена Г. З. Елисеевым – разумеется, в виде не очень удачной шутки. Конечно, подобная – «зайцевского типа» – острота не имела шансов понравиться Достоевскому. Однако тогда он воспринял её именно как шутку. Но время могло сместить акценты – забылся иронический контекст, осталась одна «голая мысль», лишённая сопутствующей интонации.

Характерно, что именно как шутку расценили этот «анекдот» современники. «Анекдот, может быть, верен, – откликнулся «Вестник Европы», – как верно то, что есть на свете очень глупые люди; нам сомнительно одно, чтобы это мог быть “представитель” интеллигенции... Признаемся, нам сомнительно, чтобы даже шушера могла высказать мысль об “уничтожении народа”. Не было ли это сказано г. Достоевскому на смех?»

Было рискованно так шутить с Достоевским. Но ещё неосмотрительнее было приводить эту шутку в печати. «Словом, уши вянут»²³⁴, – заключал «Вестник Европы».

²³² Голос минувшего. 1914. № 4. С. 124. Не совсем ясно, кому принадлежит вопросительный знак – автору воспоминаний или же редакции «Голоса минувшего» – и что он означает: удивление или авторское сомнение в точности своей памяти.

²³³ Один только раз, когда Елисеевы дали пятидесятичетырёхлетнему Достоевскому «40 лет с небольшим», он отозвался о супругах почти благожелательно: «Ужасно странные люди, она же пресмешная нигиляшка, хотя и из умеренных» (Переписка. С. 239).

²³⁴ Вестник Европы. 1880. Октябрь. С. 817. Несомненно, что именно это место «Дневника писателя» имел в виду Кавелин в своём открытом письме Достоевскому: «Объективный смысл слов и вещей в наших глазах имеет мало значения; мы всегда залезаем человеку в душу. И вы не остались чужды этой нашей общей слабости, вложив в уста западников

Для чего же понадобилось обнародовать этот «анекдот» автору «Дневника писателя»? Он оставляет под подозрением внутренние мотивы русского либерального движения: оно, по его мнению, в первую очередь преследует свои собственные, узкокорпоративные цели. И в иных случаях для достижения этих целей народ мог бы представлять помеху, пожалуй, не меньшую, чем самодержавие. Тезис об «уничтожении народа» обретает в устах Достоевского некий художественно-метафорический смысл – как предельное заострение ситуации (и в этом отношении он равнозначен таким собирательным художественным формулам, как «кровь по совести», «человек из бумажки», «возвращение билета» и т. д.).

Разумеется, никто из участников тургеневского обеда не позволил бы себе сомнительных острот насчёт «уничтожения народа». Однако мысль о его – хотя бы временном, «до срока» – устранении из будущей политической жизни (мысль, в которой никто не признался бы публично) иным из них не показалась бы невозможной.

Когда Павел Васильевич Анненков говорит, что Достоевский захотел выставить Тургенева «пунцовым драконом», он не вполне прав. Здесь скорее присутствовало стремление показать, что никакого «дракона», собственно, нет, а есть старые, хорошо известные либеральные пожелания.

Сама речь Тургенева давала основание для подобных оценок. Предлагаемая им программа была не только лояльна по отношению к существующей власти, но – по своему «радикализму» – просто несоизмерима с глобальными утопиями Достоевского.

«Правительственные силы, – сказал Тургенев, – которые заправляют и должны заправлять судьбами нашего отечества, могут ещё скорее и точнее, чем мы сами, оценить всё значение и весь смысл настоящего, – скажу прямо: исторического мгновения. От них, от этих сил зависит, чтобы все сыновья нашей великой семьи слились в одно деятельное единодушное служение России, – той России, какую её создала история, создало то прошедшее, к которому должно правильно и мирно примкнуть будущее»²³⁵.

Разумеется, в этих словах не было ничего «пунцового» (скорее, Достоевского могло раздражить упоминание о «правительственных силах», под которыми можно было бы разуметь не только верховную власть, но и правящую бюрократию).

И уж, конечно, то, о чём говорил Тургенев, не имело ничего общего с программой и направлением «Отечественных записок»: там никогда не считали, что именно «правительственные силы... должны заправлять судьбами нашего отечества».

Но для Достоевского и либералы, и демократы одним миром мазаны. В его представлении «профессора» и «семинаристы» суть выкормыши одной идейной стихии, и главное, что их объединяет, – это полнейшее непонимание сокровенной (нравственной) сути народа. Русский интеллигентный слой, по его мнению, не есть народная интеллигенция: отсюда сугубое недоверие к тем конституционным формам, при которых парламентские учреждения могут обратиться в органы корпоративного представительства.

«Заговор, – сказано в последней тетради. – Научатся у лаптей, как вести себя, говоря царю правду, тогда как теперь... в заговор против народа (обратится ваше увенчание здания)»²³⁶.

Интеллигенция должна учиться «у лаптей», как вести себя с властью. Точнее, все сословия должны пройти школу народного представительства: социальным педагогом в подобной школе должен быть сам народ.

размышления, которые серьёзному человеку не могут придти в голову, а разве какому-нибудь шалопаю» (Вестник Европы. 1880. Ноябрь. С. 433).

²³⁵ Молва. 1879. 15 марта. См. также: Вестник Европы. 1879. Апрель. С. 828.

²³⁶ Литературное наследство. Т. 83. С. 696.

Последнее слово

10 марта 1881 года – через несколько дней после убийства народовольцами Александра II – Исполнительный комитет «Народной воли» обратился с письмом к новому императору.

«Заявляем торжественно, перед лицом родной страны и всего мира, – говорилось в письме Александру III, – что наша партия с своей стороны безусловно подчинится решению Народного Собрания...»²³⁷

Итак, «Народная воля» полагалась на волю Народного собрания: это программа-минимум революционной партии.

Но нечто схожее предлагает и Достоевский: это тоже его программа-минимум.

С одной лишь разницей.

Для авторов письма Александру III созыв Народного собрания явился бы *началом* русской революции (или, во всяком случае, мощного революционного процесса). Для Достоевского такой созыв означает её *конец*.

«И так плодотворно будет обучение, – записывает он, – сколько перебегут, как осиротеют доктринёры, вся молодёжь от них отшатнётся, даже взрыватели отшатнутся и примкнут к русской правде»²³⁸.

Одно и то же решение – предлагаемое «взрывателями» и предлагаемое Достоевским, – должно, по мысли авторов, повести к результатам прямо противоположным.

Это трагедия русского общественного сознания, ибо понятие «народ» и в той, и в другой формуле остаётся величиной неизвестной.

Есть и ещё одно отличие. В письме «Народной воли» Собрание мыслится как всеобщее. Достоевский же предлагает «позвать» *только* «серые зипуны». Но значит ли это, что он исключает интеллигенцию из будущей политической жизни?

Вовсе нет. Он говорит, что после «серых зипунов» «и их слово плодотворно будет, ибо они всё же ведь интеллигенты, и последнее слово за ними»²³⁹.

Это чрезвычайно важное заявление. «Схема» Достоевского такова: первое слово говорит народ; интеллигенция учится у народа, и лишь *после* такой учёбы она произносит своё окончательное суждение.

Он убеждён, что в этом случае оба слова совпадут.

Нужно только одно: «оказать доверие». То есть сделать именно то, на что решиться самодержавие органически неспособно.

Так замыкался ещё один круг, разомкнуть который он был не в силах.

Может быть, в глубине души он сознавал это. Но всё же не желал отказываться от своей надежды. Он хочет верить (и это, пожалуй, самое любопытное!), что русская революция склонится перед изъявлением народной воли: «взрыватели» примкнут к «русской правде».

Кто же останется?

«Останутся только старые доктринёры, отжившие свой срок, колпаки и либералы сороковых и пятидесятих годов»²⁴⁰.

Иными словами, русская революция ближе к «русской правде» (то есть нравственному решению), чем верящие в «механические успокоения» (конституцию) русские либералы. Они – вне народа.

²³⁷ Былое. 1906. № 3. С. 37.

²³⁸ Биография... С. 365 (вторая пагинация).

²³⁹ Дневник писателя. 1881. Январь. Пусть первые скажут...

²⁴⁰ Биография... С. 365 (вторая пагинация).

Поэтому в осторожных тургеневских иносказаниях Достоевский усмотрел ещё одну (подкреплённую талантом и отсюда вдвойне соблазнительную) попытку действовать *против* народа: требование обозначить идеал как раз и имело целью подчеркнуть его отсутствие²⁴¹.

Такова в основных чертах идеологическая подоплёка «обеде инцидента» 1879 года. Однако его нельзя понять до конца, не сделав ещё поправку на причины чисто психологические, на некоторые аспекты самой личности Достоевского.

Спрашивается: насколько типичен для Достоевского предпринятый им демарш и имелись ли какие-либо непосредственные «местные» причины, сделавшие его возможным?

Афронт в благородных домах

В своих воспоминаниях известный русский экономист, профессор И. И. Янжул приводит следующий эпизод. Автор воспоминаний попросил Гайдебурова (дело происходило в его доме) познакомить его с писателем. «К сожалению, мой невольный порыв, – пишет Янжул, – встречен был Достоевским более нежели холодно, почему-то ему не понравилось звание профессора, которое прибавил при моей рекомендации Гайдебуров».

За столом общая беседа коснулась предметов совершенно невинных – собирания грибов и разведения овощей, в чём Янжул выказал себя большим знатоком. «Как вдруг раздался резкий, несколько визгливый голос Ф. М. Достоевского с другого конца стола... «Профессор, а профессор! – воскликнул он, хотя ему хозяин и назвал моё имя с отчеством! – Скажите, зачем вы занимаетесь в деревне скучным огородничеством, когда гораздо веселей и приятней садоводство?!»

Иван Иванович Янжул кротко и с достоинством изъяснил причины, долженствующие показать, почему он этим не занимается (ограниченность профессорского жалованья и отдалённость получения желаемых плодов). «Ну вот и неправда, – выстрелил Достоевский, – есть сорта яблонь, которые в два-три года дают фрукты... Напрасно, напрасно, попробуйте!..» – и всё это говорилось самым раздражительным, злым тоном. Присутствующие переглянулись, а Шелгунов со свойственной ему прямоотой, нисколько не стесняясь и глядя в глаза Достоевского, заметил мне полусмеясь: «Ну, что, как вам нравятся, Иван Иванович, наши знаменитые писатели, не правда ли, мы их очень избаловали, давая возможность говорить всё, что придёт им в голову?!» Хозяин Гайдебуров умоляющим образом взглянул на Н. В. Шелгунова...»²⁴²

Очевидно одно: Достоевский почему-то невзлюбил Янжула. Но только ли это обстоятельство послужило причиной для его «антизастольных» выходок?

Прежде чем ответить на последний вопрос, остановимся на другом случае, «по типу» совершенно аналогичном предыдущему (его приводит в своих воспоминаниях Л. Оболенский).

На одном из ежемесячных литературных обедов (на сей раз не тургеневском, а рядовом) Н. С. Курочкин (поэт и врач, брат редактора «Искры» В. С. Курочкина) завёл речь о жизнеспособности талантливых людей и, в частности, сослался на Салтыкова-Щедрина, у

²⁴¹ Репортер «Нового времени» (в данном случае это мог быть сам Суворин, присутствовавший на обеде) так передаёт слова Тургенева: «...правительство, которому одному по праву принадлежит руководство обществом, может... произвести те реформы, которые соединят разрозненные теперь силы» (Новое время. 1879. 14 марта). Отсутствующее в печатном тексте речи слово «реформы», возможно, указывает на большую определённости тургеневского выступления. Не исключено, что осторожный Тургенев был смущён неожиданным «наскоком» Достоевского в большей мере, нежели он это показал, и, передавая свой текст в «Молву», несколько смягчил выражения.

²⁴² Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в 1864–1909 гг. Вып. 2. Санкт-Петербург, 1911. С. 25–26.

которого, по его словам, в молодости был порок сердца: другой с такой болезнью давно бы умер.

«Вдруг (этим «вдруг» начинаются все эпизоды подобного рода. – *И.В.*) Достоевский с криком и почти с пеной у рта набросился на Курочкина. Трудно даже было понять его мысль и причину гнева. Он кричал, что современные врачи и физиологи перепутали все понятия! Что сердце не есть комок мускулов и т. д. и т. п. Курочкин пытался возразить покойно, что он говорил только о “сердце” в анатомическом смысле, но Достоевский не унимался. Тогда Курочкин пожал плечами и замолчал: примолкли и все окружающие, с тревогой смотря на великого романиста, который, как известно, страдал падучей болезнью. Его раздражение могло кончиться припадком, а это было бы, конечно, весьма мучительно для обедавших»²⁴³.

Для обедавших это действительно было бы неприятно. Правда, следует сказать, что опасения Оболенского в отношении медицинском – не вполне основательны. Обычно Достоевский заранее чувствовал приближение припадков (хотя бывали и внезапные). Едва ли не единственный «публичный» приступ эпилепсии случился с ним в начале 1867 года, когда он вместе с молодой женой делал свадебные визиты. А. Г. Достоевская объясняет это «чрезмерным возбуждением, которое было вызвано шампанским» и добавляет: «Вино чрезвычайно вредно действовало на Фёдора Михайловича, и он никогда его не пил»²⁴⁴.

Надо полагать, что и в данном случае вино было ни при чём.

Застольный «диспут о сердце» коснулся вещей, которые могли показаться нейтральными кому угодно, только не Достоевскому. Он всегда отличался поразительной способностью идти вглубь – от первого очевидного ряда к более значительному и общему, от «слезинки ребенка» – к вопросам мирового порядка. Разговор, затеянный Курочкиным, для Достоевского только предлог, чтобы выйти на свои любимые темы – обличить «образованных» современников в легкомудрости и верхоглядстве, в *механическом* подходе к человеку («тайне»!), в несерьёзности их отношения к жизни.

Сердце для Достоевского – не только анатомический орган, но понятие метафизическое.

Всеволод Соловьёв приводит ещё один подобный случай.

Однажды вечером, когда Достоевский посетил Вс. Соловьёва, к жене хозяина приехали две дамы, «которые, конечно, читали Достоевского, но не имели о нём никакого понятия как о человеке, которые не знали, что невозможно обращать внимания на его странности».

«Когда раздался звонок их, – продолжает Вс. Соловьёв, – он только что ещё осматривался и был ужасен; появление незнакомых лиц его ещё больше раздражило. Мне, однако, кой-как удалось увести его к себе в кабинет и там успокоить. Дело, по-видимому, обошлось благополучно; мы мирно беседовали. Он уж улыбался и не находил, что всё не на месте. Но вот пришло время вечернего чая, и жена моя, вместо того чтобы прислать его прямо к нам в кабинет, вошла сама и спросила: где мы желаем пить чай – в кабинете или в столовой?

– Зачем же здесь! – раздражительно обратился к ней Достоевский. – Что это вы меня прячете? Нет, я пойду туда, к вам.

Дело было окончательно испорчено. И смех и горе!.. Нужно было видеть, каким олицетворением мрака вошёл он в столовую, как страшно поглядывал он на не повинных ни в чём дам, которые продолжали свою веселую беседу, нисколько не заботясь о том, что можно при нём говорить и чего нельзя.

Он сидел, смотрел, молчал, и только в каждом его жесте, в каждом новом позвякивании его ложки об стакан я видел несомненные признаки грозы, которая вот-вот сейчас раз-

²⁴³ Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 501.

²⁴⁴ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 113.

разится. Не помню, по поводу чего одна из приехавших дам спросила, где такое Гутуевский остров?

– А вы давно живёте в Петербурге? – вдруг мрачно выговорил Достоевский, обращаясь к ней.

– Я постоянно здесь живу, я здешняя уроженка.

– И не знаете, где Гутуевский остров!.. Прекрасно! Это только у нас и возможно подобное отношение к окружающему... Как это человек всю жизнь живёт и не знает того места, где живёт!...»

Что говорить, такой посетитель – не подарок для хозяина. Он, если воспользоваться стихом Дениса Давыдова, бьёт в гостиных не «в маленький набатик», а – в большой набат. Такой звук труднопереносим, ибо не соизмеряет свои возможности ни с домашним пространством, ни со слухом окружающих. И в данном случае возмущение Достоевского («он раздражался больше и больше и кончил целым обвинительным актом»²⁴⁵) вызвано, конечно, причинами более существенными, чем «топографический идиотизм» действительно ни в чём не повинных петербургских дам. «Гутуевский остров» – только символ, образ того, что, живя в России, можно вовсе не знать этой России (даже географически, ибо «извозчики довезут»), зловещее (хотя и на бытовом уровне) свидетельство отрыва образованного общества от отечественных корней.

Так; но в чём всё-таки виноваты огородничество и садоводство?

Они, как думается, ни при чём. Ибо следует помнить, где, когда и при каких обстоятельствах происходит действие.

Да, он может, когда «подкатит шарик», съехидничать в гостиной Штакеншнейдеров; может быть нелюбезным, мрачным, дуться на гостей, говорить дерзости. Может на обычный вопрос о здоровье ответить А. П. Философовой: «Вам какое дело, вы разве доктор?»²⁴⁶ – и спорить до хрипоты с той же Анной Павловной о «православном Боге». Но в этих *своих* домах он не злопамятен и отходчив: съязвив, сразу добреет и «как ни в чём не бывало» шутит со своей недавней жертвой. Не умеет он только одного: «быть высокомерным и выказывать высокомерие...»

По контрасту, Штакеншнейдер вспоминает о «мастере высокомерия» – Тургеневе, который отнюдь не грубил женщинам, «но самым молчанием способен был довести человека до желания провалиться сквозь землю». Мемуаристка приводит случай, когда на вечере у Я. П. Полонского, в присутствии «развитых» молодых людей, Тургенев весь вечер изводил некоего богача-железнодорожника «надменностью и брезгливостью», чтобы «показаться» перед молодёжью. Как выяснилось, в Париже, «где нет «развитых» молодых людей, Тургенев целые дни проводит у этого богача-железнодорожника. Таких тонкостей в обращении, – добавляет Штакеншнейдер, – что в одном месте надо с человеком обращаться так, а в другом иначе, и одного можно обрывать, а другого нельзя, Достоевский совсем не знал»²⁴⁷.

Он абсолютно не умеет играть: при всех обстоятельствах он остаётся самим собой.

Но то, что вполне могло бы сойти у своих – Философовой, С. А. Толстой, Штакеншнейдеров, – в ином месте и при иных обстоятельствах вдруг обращается в неуместную демонстрацию, идейный выпад (и даже, по словам Г. Градовского, в «допрос»). Виновник

²⁴⁵ Соловьёв В. С. Указ соч. С. 55.

²⁴⁶ По свидетельству Анны Григорьевны, «он чрезвычайно не любил вопросов о здоровье не только от чужих, но даже и от близких:»¹⁴⁸⁹. Не потому ли, что в традиционном риторическом построении этого вопроса (как и в вопросах типа «как дела?» или «что новенького?») присутствует момент формализации, подменяющий подлинный интерес и выхолащивающий живую теплоту отношений?

¹⁴⁸⁹ См.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. С. 47.

²⁴⁷ Штакеншнейдер Е. А. Указ. соч. С. 456–457.

скандала не принимает негласных правил общественной игры, не делает «поправку на публику» и, натурально, выламывается из ряда.

И тут самое время заняться публикой: именно она в немалой мере способствовала тому, что произошло на тургеневском обеде.

Увы, это так.

К вопросу о публике

Вспомним: где главным образом происходят у Достоевского его, казалось бы, совершенно беспричинные вспышки? В *литературном* доме Гайдебурова; на рядовом и экстраординарном *литературных* обедах и т. д.

Это та среда, в которой Достоевский никогда не чувствует себя свободно. И дело не только в том, что здесь собираются сливки столичной интеллигенции, чьи политические симпатии глубоко чужды автору «Карамазовых». Дело ещё в его писательском положении, в его общественной репутации.

Когда Л. Оболенский пишет о том, что «все окружающие с тревогой смотрели на *великого* романиста», он говорит это из будущего, то есть из того времени, когда создавались его воспоминания. В конце 70-х годов нашлось бы не так много людей, которые отважились бы назвать автора «Бесов» «великим романистом». Никто, конечно, не отрицал его таланта: однако носитель этого таланта находится под общественным подозрением.

Особенно – в кругу литературно обедающих.

Этот круг вынужден терпеть Достоевского: не столько из-за пиетета перед ним самим, сколько из невольного уважения к его стремительно крепнущей славе. Именно на последние годы приходится бурный рост его популярности, именно в это время устанавливается непосредственная связь между ним и многосоставной читательской аудиторией. «Все алчущие и жаждущие правды, – говорит Штакеншнейдер, – стремились за этой правдой к нему; за малыми исключениями, почти все собратия его по литературе его не любили»²⁴⁸.

Он – чужой среди своих: в кругу известных литераторов, либеральных профессоров и талантливых адвокатов он – белая ворона. Он не вписывается в картину духовного довольства и преуспевания: он, «человек экстремы», совсем из иного мира.

Есть что-то пророческое в столкновениях Достоевского с либеральными профессорами семидесятых годов. Он словно прозревает скорое – на рубеже двух веков – торжество «профессорской культуры»: самодостаточной, успокоенной, умеренно оппозиционной. Той самой культуры, адепты которой, удовлетворяясь её действительно неоспоримыми специальными заслугами, будут брезгливо отстраняться от *слишком общих* проблем, поднятых отечественной словесностью, вяло сетовать на чудачества и «уклонения» Толстого и Достоевского и снисходительно похлопывать по плечу Чехова²⁴⁹.

Та «профессорская» среда, с которой имеет дело Достоевский, инстинктивно сторонится крайностей. Её вполне устраивает то, что есть (в том числе и в области общественной), желательно лишь с присовокуплением некоторых *механических* усовершенствований («увенчание здания»).

²⁴⁸ Там же. С. 456.

²⁴⁹ Не было ли творчество Чехова – внешне «бестенденциозное» – в какой-то мере реакцией на господство в русской литературе «идеологического романа» Толстого и Достоевского? У Чехова всё «чисто идеологическое» почти без остатка растворено стихией обыденного, мелкого, повседневного. Между тем эта *безосадочность* чеховской прозы создавала новый тип осмысления мира – изнутри – в потоке бессобытийной, «скучной» жизни, идеологически как бы неакцентированной, «нейтральной».

Записано в последней тетради: «Государство создаётся для середины... Середина... формулировала на идеях высших людей свой срединный кодекс»²⁵⁰.

Он ставит на полях *NB* и семь восклицательных знаков.

Он враг этой срединной, нравственно приглушенной, «тёплой» культуры. Он входит в её избранный круг, затравленно озираясь: он здесь в явном меньшинстве. Поэтому он – вечно «закомплексован», вечно настороже: любое слово может вызвать у него повышенную, неадекватную реакцию, послужить толчком для неожиданных вспышек. И «огородничество» только предлог, чтобы выказать своё недовольство, явить неприязнь, разрядиться. Но если уж невинные сельские досуги профессора Янжула вызвали у него такой гнев, можно представить, как воспринял он застольное слово Тургенева.

В своей речи Тургенев остался верен себе: он «подставил щёку». Каждому из присутствовавших разрешалось мысленно обозначить неназванную и от этого ещё более заманчивую цель.

«Скажите же теперь, какой ваш идеал?» – этот вопрос был обращён не только к Тургеневу. Он был обращён и к самому себе. Именно на него с безоглядной смелостью попытается он ответить через год с небольшим – в Пушкинской речи.

Но в этот день, 13 марта 1879 года, в Петербурге произошло ещё одно событие. Оно осталось не отмеченным ни в воспоминаниях о тургеньевском обеде, ни в каких-либо специальных работах о Тургеневе или Достоевском. Между тем представляется, что этот утренний инцидент находился в некоторой связи с тем, который имел место вечером, – в зале ресторана Бореля.

Стрельба на полном скаку

13 марта 1879 года около часу дня карета, в которой помещался шеф жандармов генерал-адъютант Александр Романович Дрентельн, быстро катилась вдоль Летнего сада. Начальник III Отделения (он сменил на этом посту Мезенцова) спешил в Зимний дворец на заседание Комитета министров. Неожиданно с каретой поравнялся элегантно одетый молодой человек верхом на лошади; некоторое время он скакал рядом, затем выхватил револьвер и выстрелил в Дрентельна.

Пуля, влетевшая в окно кареты, вылетела в противоположное окно, минуя сановного пассажира. Молодой человек попытался сделать ещё один выстрел – это ему не удалось (как выяснилось позднее, вторая пуля застряла в барабане). Нападавшему ничего не оставалось, как повернуть лошадь и скрыться (он таки ушёл от погони, бросив по дороге свой транспорт и пересев на извозчика)²⁵¹.

«Да послужит этот случай, – грозно заявлял подпольный листок, – первым предупреждением г. Дрентельну. Исполнительный комитет, как известно, редко делает промахи»²⁵².

²⁵⁰ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

²⁵¹ Покушавшегося Л. Ф. Мирского (ему было около двадцати лет) схватили позже в Таганроге, судили и приговорили к смертной казни. Он написал «извинительное» письмо Дрентельну, в результате чего был помилован. Далее следует цепь странных совпадений, имеющих некоторое отношение к Достоевскому. Мирский, находясь в крепости, выдал «петропавловский заговор» своего союзника С. Г. Нечаева (тот помещался в соседней камере Алексеевского равелина) и тем самым расстроил готовившийся Нечаевым побег (за всю историю крепости оттуда не удалось бежать ни одному заключённому). Нечаев (как известно, «прототип» одного из главных героев «Бесов» – Петра Верховенского) умер в одиночном заключении 21 ноября 1882 года, то есть ровно в тринадцатую годовщину убийства им другого «прототипа» романа – студента И. И. Иванова.

²⁵² Листок «Земли и воли». 1879. 22 марта. № 2–3. «Телеграмма о новом покушении со стороны нигилисты произвела на меня сильнейшее впечатление, – пишет на следующий день в своём неопубликованном послании Достоевскому В. Ф. Пуцкович, – но, признаюсь, ещё более сильное впечатление произвело <1 слово нрзб> безграмотство правительственной телеграммы, из которой оказывается, что Др<ентельн>, гнавшийся за преступником, сохранил полное присутствие духа! А что же было бы, если бы преступник, обернувшись, погнался за ним, Дрентельном?.. Десяток строк не умеют

Покушение, как мы уже говорили, совершилось около часу дня. Нет никакого сомнения, что присутствовавшие на тургеневском обеде (среди них было немало журналистов) уже знали эту первостепенную новость (сам обед происходил вечером).

Для Достоевского весть о случившемся могла стать последним эмоциональным толчком.

В своей речи Тургенев, в частности, сказал (не были ли эти слова косвенным откликом на утреннее происшествие?): «Напрасно станут нам указывать на некоторые преступные увлечения; явления эти глубоко прискорбны; но видеть в них выражение убеждений, присущих большинству нашей молодежи, было бы несправедливостью, жестокой и столь же преступной...»²⁵³

Эти слова Достоевский должен был воспринять особенно остро. Вспомним его глубокое убеждение, что винить прежде всего следует отцов. Они, отцы, благодушествуют и мирно обедают, в то время как дети проливают свою и чужую кровь.

Он запишет в последней тетради: «Передо мной стоял гимназист. Зарезать отца или спасти ребёнка – одно и то же... Всё перепуталось и серьёзнее, чем вы думаете, ибо они честнее отцов и переходят прямо к делу»²⁵⁴.

«Они честнее отцов», ибо «они», как Раскольников, испытывают на себе. Они не ограничиваются теорией – и идут до конца. Это тоже «национальная черта поколения», которое, по мысли Достоевского, осуществляет на практике то, чего отцы вовсе не желали, но к чему они своим историческим прекраснодушием невольно подвинули детей.

Он требует признать духовное преемство.

Можно понять психологическое состояние Достоевского вечером 13 марта. В переполненной избранной публикой зале ресторана Бореля звенели бокалы; речь шла о «высоком и прекрасном»; при этом не забывали упомянуть и о народе («от имени русских женщин и русского мужика, – не без иронии сообщало «Новое время», – произнёс тост Алексей Потехин»²⁵⁵). Он оказался на банкете либеральной партии, избравшей Тургенева *предлогом* для заявления своих политических требований.

В это время на улице стреляли.

Достоевский не мог не чувствовать двусмысленности происходящего. Пышное обеденное действо, сладкоречивые (и пребывающие при этом в полной безопасности) ораторы – всё это плохо гармонировало с грозным ходом событий, с горячим и кровавым дыханием 1879 года.

«Обеденный инцидент» испортил настроение обедающим. Правда, далеко не всем. «После живых картин Тургенев уехал, извиняясь страшной усталостью, а публика начала танцевать». Веселье достигло апогея, когда уже упоминавшаяся хорошенькая натурщица в древнегреческом костюме, уступая настойчивым требованиям гостей, вскочила на стол (справедливость требует сказать, что это происходило в отдельной зале) и «без малейшего смущения» произнесла очередной тост²⁵⁶. «Живые картины» вряд ли могли соперничать с этой натуральной сценой.

Тургеневский обед имел некоторое продолжение.

составить как следует» (РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29828 ССХІ. Д. 10. Письмо от 14 марта 1879 г.). Интересно сравнить это правительственное «безграмотство» с другим, допущенным в обстановке всеобщей паники 1 марта 1881 года. Первое официальное сообщение об убийстве Александра II начиналось словами: «Воля Всевышнего свершилась» (этот текст потом отбирался полицией). Ю. Д. Засецкая пишет Анне Григорьевне: «Каково, что выстрелили вчера в Дрентеля (*sic!*) два раза, разбили окно его кареты, но, слава Богу, он остался невредим. Убийца скрылся, как всегда» (Литературное наследство. Т. 86. С. 474).

²⁵³ Молва. 1879. 15 марта.

²⁵⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 680.

²⁵⁵ Новое время. 1879. 14 марта.

²⁵⁶ См.: Исторический вестник. 1902. Февраль. С. 500–505.

Вечер третий, и последний

Поскольку вечер 9 марта в пользу Литературного фонда удался на славу, решено было его повторить. 16 марта – через неделю после первой встречи (и через три дня после памятного обеда) – Тургенев и Достоевский вновь сошлись в зале Благородного собрания.

Для того чтобы участвовать в этом вечере, Достоевскому пришлось разрешить одно непредвиденное затруднение.

15 марта великий князь Константин Константинович послал Достоевскому следующую записку: «Многоуважаемый Фёдор Михайлович, я буду рад и благодарен Вам, если Вы не откажетесь провести у меня вечер завтра, 16-го марта; начиная с 9 ч. Вы встретите знакомых Вам людей, которым, как и мне, доставите большое удовольствие своим присутствием. Преданный Вам Константин»²⁵⁷.

Юному представителю дома Романовых (будущему поэту К.Р., автору песни «Умер бедняга! В больнице военной...») исполнилось недавно двадцать лет. Пущенный по морской службе, он тяготел, однако, к изящной словесности. Он был поклонником Достоевского. Последнему в свою очередь льстило это знакомство.

Великий князь приглашал к девяти часам. Между тем вечер Литературного фонда начинался в восемь. Теоретически можно было бы успеть, если поторопиться и читать одним из первых. Но этого чтец не любил: он привык относиться к делу серьёзно.

Приходилось выбирать между августейшим приглашением и общественным долгом.

«Ваше Императорское Высочество, – отвечает Достоевский, – я в высшей степени несчастен, будучи поставлен в совершенную невозможность исполнить желание Ваше и воспользоваться столь лестным для меня приглашением Вашим».

Он пишет слогом, приличествующим случаю, и просит высокого адресата принять выражение его «горячих чувств», но стоит на своём: о его выступлении объявлено, билеты разобраны, и если бы он не явился, то устроители из-за его отказа «принуждены бы были воротить публике и деньги»²⁵⁸.

Последнее несколько преувеличено: как-никак «остаётся» ещё Тургенев; однако великому князю подробности знать не обязательно.

Итак, он выбирает Литературный фонд.

По настоянию публики он повторил отрывок, читанный 9 марта. Впечатление было не менее сильным. «Во многих местах, – сообщало «Новое время», – чтение прерывалось едва сдерживаемыми рукоплесканиями и восторженными криками, и только опасение за целостность, так сказать, впечатления останавливало их»²⁵⁹.

До нас не дошёл голос Достоевского (он, в отличие от Толстого, не дожидая появления граммофона); не известно также ни одной фотографии, которая запечатлела бы его на эстраде. Поэтому о сценическом воздействии его личности мы можем судить лишь по отзывам очевидцев. И все они сходятся на одном: он был гениальный исполнитель.

Но тайна, увы, утрачена. Никакие внешние описания не в силах, по-видимому, передать секрет этого поражающего современников лицедейства, которое даже трудно назвать лицедейством в обычном смысле. «Разве я голосом читаю?! Я нервами читаю!»²⁶⁰ – обмолвился он однажды, и это признание объясняет многое. Не актёрство как таковое, не мастерство, не «сумма приёмов», то есть не искусство, явленное как бы отдельно от «всего осталь-

²⁵⁷ Литературное наследство. Т. 86. С. 135.

²⁵⁸ Там же.

²⁵⁹ Новое время. 1879. 18 марта.

²⁶⁰ Мошин А. Новое о великих писателях. (Мелкие штрихи для больших портретов.) Санкт-Петербург, 1908. С. 72.

ного», а целостное переживание, та мера правды, которая «не читки требует с актёра, а полной гибели всерьёз».

«Читает он и говорит мастерски, – свидетельствует де Воллан, – за душу хватает его тихий надтреснутый голос, чувствуется, что перед вами глубоко страждущий человек, даже больной человек, не шарлатан фразы, а глубоко несчастный человек»²⁶¹.

Печать личного страдания, но вызванного не только субъективными причинами. Его собственная «несчастье» могла бы лишь разжалобить публику, не больше. В его боли, столь ощутимой при выговаривании им своего текста, нечто сверхличное, общее, касающееся всех. Это дуновение мирового неблагополучия, настигающее слушателя и заставляющее его усомниться в благополучии собственного бытия.

16 марта закреплялось то, что было достигнуто 9-го. И этот успех был ещё более важен: по-видимому, на настроении публики никак не сказался скандал на тургеневском обеде.

«Гипноз окончился, – вспоминает очевидец, – только тогда, когда он захлопнул книгу (очевидно, это всё-таки была рукопись, так как апрельский «Русский вестник» ещё не выходил. – *И.В.*). И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками, какая-то барышня поднесла пышный букет, кому-то сделалось дурно...»²⁶²

Итак, во-первых, выясняется, что в обморок падали не только после Пушкинской речи. Во-вторых, следует остановиться на букете: он того заслуживает.

Цветы живые

Как было сказано, в вечере участвовал и Тургенев (его опять приветствовали стоя): он прочитал «Бирюка». Но гвоздём программы должно было стать совместное исполнение Тургеневым и М. Г. Савиной сцены из тургеневской «Провинциалки».

Публика ждала необычного дуэта с нетерпением (он значился в самом конце программы). «Все распорядители, – вспоминает партнёрша Тургенева, – то есть литераторы и даже Достоевский... пошли слушать в оркестр».

«Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?» – произнесла первую фразу юная и прелестная Савина, и зал, мгновенно уловив подтекст, взорвался аплодисментами.

Выступление с таким необычным партнёром, как Тургенев, конечно, осталось ярчайшим воспоминанием в жизни Марии Гавриловны. (Именно в эти дни зарождается последняя любовь Тургенева – его нежное и грустно-безнадёжное увлечение молодой актрисой.) Но она хорошо запомнила и другое.

«Когда вышел Достоевский на эстраду, – говорит Савина, – овация приняла бурный характер: кто-то кому-то хотел что-то доказать. Одна известная дама Ф. (А. П. Филофова. – *И.В.*) подвела к эстраде свою молоденькую красавицу дочь, которая подала Фёдору Михайловичу огромный букет из роз, чем поставила его в чрезвычайно неловкое положение. Фигура Достоевского с букетом была комична – и он не мог не почувствовать этого, как и того, что букетом хотели сравнить овации (очевидно, Тургеневу. – *И.В.*). Вышло бестактно по отношению “гостя”, для чествования которого все собрались, и Достоевского, которому вовсе не нужно было присутствие “соперника” для возбуждения восторга публики»²⁶³.

Осмелимся предположить, что артистическая память всё же изменила Савиной, и она невольно сместила акценты. Понятно, что её внимание сосредоточено на Тургеневе: он –

²⁶¹ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 125.

²⁶² Щеглов Ив. Три мгновения. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском // Биржевые ведомости. 1911. 29 января.

²⁶³ Тургенев и Савина. Петроград, 1918. С. 68–69. Этот факт тщательно зафиксирован петербургскими газетами. «Лектора вызывали несколько раз, причём одна молодая девушка поднесла ему букет цветов» (Голос. 1879. 18 марта). «...Из среды публики ему был поднесён букет живых цветов» (Новое время. 1879. 18 марта).

герой дня, с ним в паре она выходит на сцену, и естественно, что она ревниво относится к чужому успеху. «Мне хотелось, – простодушно признаётся Савина, – чтобы его (Тургенева. – И.В.) любили больше Достоевского».

Но, во-первых (осторожно возразим Савиной), это всё-таки литературный вечер, в котором участвуют и другие писатели (а вовсе не чествование Тургенева). Во-вторых, Тургеневу преподнесли на этом вечере очередной венок («...перед принятием которого, – как свидетельствует другой воспоминатель, – он невольно сделал недоумевающий курьёзный жест и начал раскланиваться»²⁶⁴). И, в-третьих, букет не столько создавал бестактность, сколько устранял её, вознаграждая Достоевского, пользовавшегося на этом вечере ничуть не меньшим успехом, чем Тургенев.

Савина на всю жизнь запомнила девушку в белом платье с роскошным букетом свежих роз («А вот, Димочка, я могу вам рассказать, как я обиделась на вашу маму... за Тургенева, – говорила она (через *тридцать* лет) сыну А. П. Философовой. – А цветы-то подносила ваша старшая сестра. Мама ваша её заставила... Она тогда с Тургеневым ссорилась»). Более всего Марию Гавриловну поразило то, что это были *живые* розы (в марте месяце). «...На сцене, – добавляет она, – нам всегда подносили искусственные цветы»²⁶⁵.

Букет запомнился и Анне Григорьевне. Она замечает, что «на ленте, расшитой в русском вкусе, находилась сочувственная чтецу надпись (хотелось бы знать: какая? – И.В.)»²⁶⁶.

Кажется, это были первые живые цветы, которые он получал публично. Тургенев, приняв очередной венок, раскланивался не без кокетства; Достоевский к подобным подношениям ещё не привык. «Ф.М., – свидетельствует один из зрителей, – взял букет как-то нервно, не глядя, разом, и сунул куда-то за занавес, как будто бы прогнал мешающий ему предмет или отстранил от себя что-либо мешающее ему наблюдать, анализировать, работать»²⁶⁷.

Впервые удостоенный подобных оваций, он не только «оттянул» на себя внимание публики, но и заставил серьёзную критику взглянуть несколько иначе на расстановку литературных сил.

«Тургенев и Достоевский, – писал Незнакомец (Суворин) сразу же после мартовских триумфов, – это альфа и омега русской жизни, два конца её, а в середине плотно и грузно уселся Лев Толстой, спокойно и самоуверенно взирающий на оба конца». Тургенев, по мнению издателя «Нового времени», представляет собой западное начало, Достоевский – начало русское, «страдающее, многогрешное, многодумное и тяжёлое, тяжёлое потому, что думается в одиночку, бесприютно, в какой-то полутьме, широкой и беспредельной, где мелькает какой-то огонёк...»²⁶⁸.

Если букет, как полагает Савина, и противопоставил Достоевского Тургеневу, то вслед за ним явилось событие совершенно обратное: оно как бы снимало инцидент на тургеневском обеде. «Публика, – вспоминает Садовников, – помирила его (Тургенева. – И.В.) с Достоевским, заставив обоих выйти рука об руку»²⁶⁹. «Вызывали Тургенева, Достоевского,

²⁶⁴ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 83.

²⁶⁵ Тургенев и Савина. С. 80, 79.

²⁶⁶ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 332.

²⁶⁷ Литературное наследство. Т. 86. С. 477.

²⁶⁸ Новое время. 1879. 18 марта. № 1096.

²⁶⁹ Русское прошлое. 1923. № 1. С. 83. Ср. «Почтенные писатели, вышедши на эстраду, поклонились публике, пожав друг другу руки» (Описание торжеств... С. 30). Савина объясняет этот эпизод всё теми же розами: «В публике, благодаря этому букету, произошло некоторое смятение, но в результате... усиленные овации по адресу обоих литераторов» (Тургенев и Савина. С. 69). Ср. также: «В заключение вызвали вместе И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского, и они на эстраде крепко пожали друг другу руки» (Литературное наследство. Т. 86. С. 477).

наконец, Тургенева и Достоевского вместе: они вышли на вызов и обменялись на эстраде дружеским рукопожатием»²⁷⁰, – подтверждает газетный отчёт.

Это было вынужденное перемирие (вынужденное публикой). Но эстрадный жест отвечал тому общественному настроению, которое в конце концов повело к «межпартийным» объятиям в дни пушкинских торжеств. Это было выражением подсознательного, но достаточно сильного стремления к общественному единству – единству *всей* русской культуры перед лицом грозных и неведомых событий, перед лицом общего врага. Молодёжь (да и не только молодёжь) инстинктивно чувствовала, что усилия Тургенева и Достоевского в конечном счёте направлены к одной – высшей – цели, что длящийся раскол играет на руку только тем, кто пренебрегает будущим страны и печётся лишь о сохранении *status quo*. Аплодисментами, вызовами, требованием подать друг другу руки пытались преодолеть реальную трагедию русского общественного сознания. Русская интеллигенция была слишком слаба, чтобы позволить себе такую роскошь – спокойно наблюдать бесплодную, по её мнению, борьбу своих духовных вождей. («Мыслимы ли партии, – замечает Савина, – когда сходятся такие колоссы, как Достоевский и Тургенев».)

И всё-таки это был худой мир. Недаром, когда стихли рукоплескания, Достоевский за кулисами сделал Савиной следующий комплимент: «У вас каждое слово отточено как из слоновой кости, – и прибавил не без яда: – а вот старичок-то пришепётывает»²⁷¹.

Вечер третий. Окончание

В этот же вечер очередную «пятницу» Я. П. Полонского для общего удобства перенесли к Гайдебурову. Достоевского, который был постоянным посетителем Полонских, на сей раз пригласила жена поэта – Жозефина Антоновна. Получилась накладка: ещё ранее был зван и Тургенев. Яков Петрович шепнул об этом жене. «Достоевскому сейчас кинулось в голову, что Полонский не желает быть знакомым, сделал жене замечание по поводу его и пр., рассердился и начал везде распространяться о том, что его ноги больше не будут у Полонских»²⁷², – так передаёт Садовников эту «литературную» сплетню, впрочем весьма похожую на правду. Добрейшему Якову Петровичу пришлось лично ехать и уламывать своего старого приятеля.

Тургенев и Достоевский явились к Гайдебурову прямо после примирительной сцены. Тургенев – несколько ранее. Он пребывал в хорошем расположении духа, но, поскольку вечер проходил не у Полонских, а у «чужих», говорил сравнительно мало. «Вдобавок, – вспоминает Садовников, – скоро явился мизерный по наружности Достоевский. Я больше года как не видал его. Он похудел, нос как-то заострился, то же трусливое (?! – И.В.) выражение нецветного (*sic!* – И.В.) лица... Он вошёл и сделал как-то недоумевающе общий поклон, точно боясь, что никто или многие на него не ответят. Вообще он, должно быть, страшно подозрителен».

Интересную черту являют иные воспоминатели. Так, и Градовский, и Садовников явно недолюбливают Достоевского – и оба не забывают отметить его «мизерную» внешность. «Нецветное» (очевидно, бледное?) похудевшее лицо Достоевского («Братья Карамазовы» дают себя знать) невыгодно контрастирует с «румяным, полным, здоровым» обликом Тургенева, который, хоть и старше Достоевского на три года, выглядит значительно бодрее (переживёт он, правда, его ненамного). Можно понять и «подозрительность»: после истории с

²⁷⁰ Голос. 1879. 18 марта.

²⁷¹ Тургенев и Савина. С. 69. Ср.: «Голос в этот вечер у И.С. был хриплый, ослабший (в чём он даже извинялся перед публикой)» (Литературное наследство. Т. 86. С. 477).

²⁷² Русское прошлое. 1923. № 1. С. 83.

приглашением и недавнего «обеденного инцидента» его виновник должен чувствовать себя не очень-то ловко.

«Я заметил в голосе Достоевского, – продолжает Садовников, – до странности болезненные, нервные ноты. Весь организм его явно расшатан до невозможности, и довести автора “Преступления и наказания” до слёз – ничего, я думаю, не стоит»²⁷³.

В том, что Достоевский легко уязвим, нет ничего удивительного. Поразительно другое: знаменитый писатель, работающий над своим последним романом, в присутствии Тургенева ведёт себя точно так же, как тридцать с лишним лет назад, когда он, начинающий автор, выскакивал за дверь, думая, что смеющиеся шуткам Тургенева смеются над ним.

Публичное рукопожатие не уничтожило напряжённости: может быть, поэтому и Тургенев, и Достоевский уехали сразу же после чая, не соблазнившись обильным ужином.

Они не встретятся больше до будущей весны.

Воспоминания о «тургеновских» днях 1879 года надолго останутся в общественной памяти. Они явятся своеобразным прологом к тому неизмеримо более значительному историческому действию, которое на краткий миг соединит русскую интеллигенцию под сенью памятника первому русскому поэту²⁷⁴. Но это произойдёт ещё не скоро.

Однако пора «вернуться вперёд» – к зиме 1880 года.

²⁷³ Там же. С. 84–85.

²⁷⁴ Ср.: «...Это была увертюра к его (Достоевского. – И.В.) знаменитой речи об Алеко на открытии памятника Пушкину в Москве...» (*Гнедич П. П.* Указ. соч. С. 122). В этой связи очень симптоматична ошибка памяти Г. К. Градовского: в своих воспоминаниях он относит «тургеновские» дни прямо к 1880 г. и непосредственно сопрягает их с Пушкинским праздником (См.: *Исторический вестник*. 1904. Январь. С. 110).

Глава VI. Две недели в феврале

Письмо с Бестужевских курсов

В конце зимы 1880 года стало мниться, что вскоре должно воспоследовать нечто чрезвычайное.

19 февраля царствованию Александра II исполнялось двадцать пять лет. По этому случаю ждали высочайшего манифеста. Поговаривали, что в связи с юбилеем будут дарованы некоторые права, льготы, привилегии, а может быть (чем чёрт не шутит), даже какое-то подобию представительных учреждений.

Слухи эти с каждым днём делались всё настоятельнее.

Великий князь Константин Николаевич поведал государственному секретарю Е. А. Перетцу о своём разговоре с императором: «Государь сообщил мне теперь, что желал бы к предстоящему дню 25-летия царствования оказать России знак доверия, сделав новый и притом важный шаг к довершению предпринятых преобразований. Он желал бы дать обществу больше, чем ныне, участия в обсуждении важнейших дел»²⁷⁵.

Царь колебался: в нынешних обстоятельствах благодеяние могло выглядеть уступкой. Призрак Великой французской революции, начавшей Генеральными штатами и кончившей гильотиной, всё ещё витал над русским царствующим домом.

В правящих сферах также не наблюдалось надлежащего единства. «Что делать?» – вопрос, традиционно задававшийся теми, кто хотел всё изменить, теперь проник на самый верх: туда, где хотели всё сохранить²⁷⁶¹⁴⁹⁰.

Общество питалось толками, сплетнями, пересудами.

С Лазурного Берега в Россию вернулась умирать безнадежно больная императрица Мария Александровна (она протянет до конца мая, когда её смерть на целых две недели отодвинет Пушкинский праздник). Газеты из номера в номер печатали подписанные лейб-медиком Боткиным бюллетени: «...Её Величество, хотя и кашляла несколько больше, но провела ночь довольно удовлетворительно... Её Величество спала довольно порядочно, несмотря на кашель; кушала не без аппетита, жаловалась на сердцебиение; пот ночью был умеренный»²⁷⁷.

Сообщалось о решениях Государственного совета по тюремному преобразованию.

Минувший год был неурожайным: стране грозил голод. Недород сильно ударил по и без того расстроенным финансам. Военный министр Д. А. Милютин скрепя сердце вынужден был урезать бюджет своего министерства.

...Зима 1880 года была на переломе.

15 января Достоевский садится наконец отвечать на накопившиеся письма.

«Прежде всего простите, что замедлил с ответом: две недели сряду сидел день и ночь за работой, которую только вчера изготовил и отправил в журнал, где теперь печатаюсь. Да и теперь от усиленной работы голова кружится»²⁷⁸.

²⁷⁵ Зайончковский П. А. Кризис самодержавия... С. 137–138.

²⁷⁶ А. А. Половцев записывает в дневнике, что самым модным выражением в кругах придворной бюрократии стало «*Il y a quelque chose à faire*» («Необходимо что-нибудь сделать») ¹⁴⁹⁰.

¹⁴⁹⁰ Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация... С. 94.

²⁷⁷ Неделя. 1880. 6 января.

²⁷⁸ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 139–140.

Он полагает нужным извиниться за задержку, хотя то письмо, на которое ныне он отвечает, было получено им каких-нибудь два-три дня назад. Он пишет человеку, с которым он незнаком. Причём отвечает ему прежде всех других своих корреспондентов.

Письмо, вызвавшее столь стремительный и, как увидим, заинтересованный ответ, до сих пор не опубликовано. Оно подписано инициалами – А. К...ва. Указан обратный адрес: «Высшие женские курсы, Сергиевская улица, д. № 7, Надежде Николаевне Барт с передачей Александре Николаевне»²⁷⁹.

Попытаемся раскрыть *аноним*.

В изданной в 1903 году «Памятной книжке окончивших курс на С.-Петербургских Высших женских курсах» под № 253 мы обнаружили: Курносова Александра Николаевна. Имя и отчество совпадают. Фамилия также соответствует (К... ва): других подходящих кандидатур в списке нет.

Здесь же под номером 223 значится: Надежда Николаевна Барт²⁸⁰. Обе девушки – слушательницы историко-филологического отделения. Обе – закончили Бестужевские курсы в 1883 году, то есть принадлежат ко второму выпуску.

Но обратимся к тексту письма.

«Фёдор Михайлович! Простите! Я, совершенно незнакомая и неизвестная Вам, обращаюсь к Вам с просьбой, с сильной просьбой – ответить мне хотя бы в нескольких словах <...> Боже мой, мне так совестно, так неловко было писать, что я, несмотря на сильное желание уяснить себе многое, всё же стеснялась и долго не решалась обратиться к Вам с просьбой: мне всё казалось, что Вы, прочитавши моё письмо, махнёте на него рукой и оставите без внимания, а это ведь мне было бы очень обидно, или же (чего я ужасно страшилась) подумаете то же, что некоторые мои знакомые не постеснялись сказать мне в глаза, что я хочу обратить на себя Ваше внимание с той целью, какая преследуется многими, – “выступить литературным героем”. Но как они меня не понимают – я ничего такого не хочу; я хочу слышать от Вас слово, от Вас же именно потому, что я, Фёдор Михайлович, Вас крепко уважаю; я верю Вам так, как ни в одного человека в мире; ни один человек не служит для меня таким нравственным светилом, как Вы».

Писем подобного рода к нему в последние годы приходило не так уж мало. Почему же именно на это письмо он отозвался без промедления, вполне извинительного в теперешних его обстоятельствах? Не угадал ли он нежное и в высшей степени уязвимое самолюбие, душевную дисгармонию, мучительную внутреннюю борьбу?

«Ваше письмо горячо и задушевно», – отвечает он.

Добавим: оно ещё и бесхитростно. Корреспондентка Достоевского поверяет ему не любовную драму, не семейные или житейские неурядицы, а тайное тайных своего духовного мира: *утрату веры*. Она не видит идеала, ради которого «можно было бы и пострадать даже, если нужно <...>». Она пишет: «<...> Люди с вечно мрачной душой, живущие сами не сознавая “зачем” и “что”, эти люди отняли, разбили у меня веру в Христа – как Бога <...>». Правда, взамен ей предложили нечто иное – «недостижимый идеал человека», но в эту высокую отвлечённость у неё – при всём желании – поверить нет сил. «Невыносимое состояние, а с жизнью расстаться всё же не хочешь, и вот начинаешь хвататься за всё, из чего можешь хоть что-нибудь добыть <...>».

Коллизия, обозначенная слушательницей Бестужевских курсов, «слишком» знакома адресату: она является одной из центральных в его романах. Письмо задело за живое.

²⁷⁹ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29927.

²⁸⁰ Памятная книжка окончивших курс на С.-Петербургских высших женских курсах 1882–1889. 1893–1903. Санкт-Петербург, 1903. С. 21, 19.

«А тут, – продолжает Александра Николаевна, – раздаётся голос такой же ужасающий, какой слышен в “Великом Инквизиторе”».

<...> Начну я говорить что-либо “о Христе, о правде”, а они мне «хороший обед, сытый желудок, удовлетворение всех потребностей <...> вот суть где».

Что же хочет автор письма от автора «Братьев Карамазовых»?

А. Н. Курносова признаётся, что отправить своё послание было для неё делом чрезвычайно мучительным: она не решалась целый год. Но... «Я знаю, что Вы лучше, чем кто-либо другой, можете разъяснить все вопросы, касающиеся душевной жизни человека <...>». Это знание зиждется на собственном опыте: «<...> Нет других книг, могущих иметь на меня такое благотворное влияние, как Ваши: “Идиот”, “Братья Карамазовы”, “Преступление и наказание” <...>».

Среди прочих названа книга ещё не дописанная, от которой Достоевский должен на миг оторваться, чтобы ответить на это письмо.

Его ответа ждут с надеждой и упованием. «Ещё раз прошу Вас, Фёдор Михайлович, не откажите мне в том, в чём я сильно теперь нуждаюсь: если Вы не имеете времени свободного на то, чтобы написать мне хотя немного, то потрудитесь написать тогда: “Я не могу” или “не хочу”, словом, что-нибудь. Последнее всё же лучше будет, чем абсолютное молчание»²⁸¹.

Сказались молодость, нетерпение, гордость. Да, наверное, потому он отвечал быстро...

Вообще он не жаловал переписки, особенно – касающейся так называемых «последних» вопросов. Он полагал, что эпистолярный жанр менее всего пригоден для их разрешения. Он предпочитал *разговоры* (недаром в его романах такую роль играют диалоги). «На письмо же Ваше, – отзывается он, – что я могу ответить? На эти вопросы нельзя отвечать письменно. Это невозможно». Он понимает, что его корреспондентке плохо, но не спешит со словами утешения: «Вы действительно страдаете и не можете не страдать». Он призывает всё же не падать духом: «Не Вы одни теряли веру во Христа».

Здесь, кажется, звучит что-то личное. Тем более что дальше сказано: «Я знаю множество отрицателей, перешедших всем существом своим под конец ко Христу»²⁸².

Он *знает* таких отрицателей. И вскоре он заметит в своей последней записной книжке: «Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, чёрт. Вот, может быть, вы не читали Карамазовых – это дело другое, и тогда прошу извинения»²⁸³.

Запись полемична: она направлена против, как сказано им несколько выше, «мерзавцев», дразнивших его за «Карамазовых» «необразованною и ретроградною верою в Бога». «Этим олухам, – продолжает Достоевский, – и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе... такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!»²⁸⁴

Он отвечает своей корреспондентке, как бы предвосхищая свою будущую запись: не как «мальчик» (в другом месте сказано: «дурак», «фанатик»), верующий во Христа, а как тот, чья вера, может быть, сама прошла через «горнило сомнений».

²⁸¹ РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29927. Л. 1–1 об., 2 об. Кажется, последним толчком, побудившим неизвестную корреспондентку отжаться на её шаг, было впечатление от личности Достоевского. «Когда я послушаю Вас на вечерах (последний раз он выступал две недели назад – 30 декабря 1879 года в пользу студентов С.-Петербургского университета с чтением «Легенды о великом инквизиторе». – И.В.), вот тогда-то мне и легче станет и на душе светлее, так светло, как было тогда, когда я была маленькая и когда у меня была добрая мать, теперь у меня никого нет...»

²⁸² Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 140.

²⁸³ Биография... С. 375 (вторая пагинация).

²⁸⁴ Там же. С. 368–369 (вторая пагинация).

«Горнило» – это преодоленная (но неотброшенная) точка зрения.

...Зима 1880 года тянулась медленно. В Зимнем дворце под председательством самого царя и в Мраморном – у великого князя Константина Николаевича – по вечерам собирались высшие сановники империи (председатель Комитета министров, шеф жандармов, военный министр и т. д.). Круг приглашенных был чрезвычайно узок, и совещания держались в глубокой тайне.

Келейно обсуждались старые и весьма скромные проекты реформы Государственного совета. Но даже эта робкая попытка преобразований оказалась обреченной на неуспех.

29 января Александр II кратко помечает в памятной книжке: «Совещание с Костей (великим князем Константином Николаевичем. – *И.В.*) и друг<ими>, реш<или>, ничего не дел<ать>»²⁸⁵.

Взрыв грянул 5 февраля.

Динамит к юбилею

Он был так силен, что грохот вырвался на Дворцовую площадь, метнулся сквозь арку Главного штаба, прокатился по Невскому, ударил на другом берегу в стены Петропавловской крепости и – глухо отозвался во всех европейских столицах.

Это был динамит.

Если бы Степан Халтурин, покидая подвал Зимнего дворца, после того как поджог запал, не забыл притворить за собой дверь, вся сила взрывной волны пошла бы вверх – и, возможно, достигла бы цели. Но жертв и без того было достаточно: десять убитых и около пятидесяти искалеченных солдат лейб-гвардии Финляндского полка, находившихся в караульном помещении, – между подвалом и царской столовой.

«Мы не знаем, – говорил в своей проповеди в Исаакиевском соборе Митрополит Исидор, – по какой причине Государь замедлил прийти в столовую в обычное для него время. Но, какая бы ни была случайность, вера ясно внушает нам, что Царь Царствующих Ангелам своим заповедал сохранить возлюбленного помазанника своего и Ангелы задержали его»²⁸⁶.

Обед должен был начаться в шесть; гость – принц Гессенский, которого встречали на вокзале сыновья императора, – задерживался. Александру II в шестой раз повезло: взрыв грянул, когда хозяева и гости переступали порог царской столовой.

На следующий день принц Александр Гессенский писал в Германию – супруге: «Пол поднялся словно под влиянием землетрясения, газ в галерее погас, наступила совершенная темнота, и в воздухе распространился невыносимый запах пороха или динамита»²⁸⁷.

Говорили, что в обеденной зале – прямо на накрытый стол – рухнула люстра. Последнее, впрочем, маловероятно.

Возлюбленная государя княжна Долгорукая с криком выбежала из своих потайных покоев; законная супруга – государыня – столь крепко спала, что ничего не слышала.

«Динамит в Зимнем дворце!.. – ужасались газеты. – Покушение на жизнь Русского Царя в самом его жилище!.. Это скорее похоже на страшный сон... Где же предел и когда же конец этому изуверству?»²⁸⁸

²⁸⁵ Зайончковский П. А. Кризис самодержавия... С. 146. Таким образом, все проекты предполагаемых реформ были отвергнуты ещё до события 5 февраля, которое похоронило их окончательно. Ср. запись в дневнике А. А. Киреева: «Не хочется, а приходится сказать, что зверская попытка 5 февраля помешала разным пагубным конституционным поползновениям и имела хороший результат» (Там же. С. 148).

²⁸⁶ Новое время. 1880. 10 февраля.

²⁸⁷ Новое время. 1880. 14 февраля.

²⁸⁸ Неделя. 1880. 10 февраля. Ср. с передовой статьёй М. Н. Каткова: «Бог охраняет своего помазанника. Только Бог и охраняет его» (Московские ведомости. 1880. 6 февраля).

В Русской православной церкви в Париже Иван Сергеевич Тургенев отстоял благодарственный молебен.

Взрыв ошеломил всех: дерзость, а главное, могущество исполнителей внушали невольный трепет. Русские послы за границей без тени юмора сообщали в Петербург слухи о намерении революционной эмиграции снарядить динамитом в винных бутылках пятьсот воздушных шаров для атаки Северной столицы²⁸⁹.

«Рассматривая обломки, которые произошли от взрыва, — замечает современник, — можно было сказать, что это обломки монархизма в России»²⁹⁰.

Суждение несколько преждевременное, однако и в самом деле политические последствия катастрофы грозили оказаться куда более значительными, чем видимые разрушения.

«Мы, — записывает 6 февраля в своём дневнике великий князь Константин Константинович (тот самый, который приглашал Достоевского на чашку чая), — переживаем время террора с той лишь разницей, что парижане в революции видели своих врагов в глаза, а мы их не только не видим и не знаем, но даже не имеем ни малейшего понятия о его численности...»²⁹¹

Такой паники столица ещё не знала.

Самые большие ужасы ожидалось к 19 февраля. Толковали о подмётных письмах, авторы которых якобы грозили поджечь Петербург «и устроить такую иллюминацию, какой не было во времена Нерона».

Был переполох в Государственном банке: кому-то почудились глухие подземные удары. Принялись копать — и дошли до грунтовых вод. Полиция строго смотрела, чтобы баки в домах стояли полными: ждали взрывов на газовом и патронном заводах. По словам современника, услышав какой-нибудь грохот на улице, люди «становились белее полотна»²⁹² (не так ли почти два десятилетия назад — в день обнародования Манифеста об освобождении крестьян — снег, свалившийся с крыши Зимнего, вызвал панику во дворце: гул был принят за пушечный выстрел; подумалось: «началось!»).

К 19 февраля многие состоятельные петербуржцы изъявили желание покинуть родной город, дабы, как выразилось «Новое время», «пережить этот день в прекрасном далёке». 16 февраля писатель Николай Лесков опубликовал письмо со знаменательным названием «О трусости»: автор «Некуда» призывал *не бояться*²⁹³.

Ходили слухи, что Невский, Морская, Фурштатская минированы. «Эта памятная неделя, — пишет мемуарист, — была очень интересна в том, что она взбудоражила всю петербургскую буржуазию. Все боялись или за жизнь, или за имущество»²⁹⁴.

Как ведёт себя в эти дни Достоевский?

Совершенно как всегда. Нервный, болезненный, до крайности впечатлительный автор «Бесов» при всём при том вовсе не из пугливых. Обуреваемый мрачными эсхатологическими предчувствиями, внутренне готовый к мировым катаклизмам, он в момент, казалось бы, реальной опасности сохраняет полнейшее присутствие духа.

²⁸⁹ См.: Хейфец М. И. Указ. соч. С. 97–98.

²⁹⁰ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139.

²⁹¹ Зайончковский П. А. Кризис самодержавия... С. 148. Днём раньше великий князь записал: «Нервы так настроены, что поминутно рассчитываешь взлететь на воздух» (цит. по кн.: Троцкий Н. А. Безумство храбрых. Москва, 1979. С. 297. Примечания).

²⁹² Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140. «Все находились как будто под впечатлением какого-то страшного кошмара и не могли думать о чём-либо другом» (там же).

²⁹³ Днём раньше газета Суворина писала: «Этот день был бы действительно радостным днём для русской земли, если б эту радость не старались смутить господа от революции и разбоя, с одной стороны, и если б в нашем обществе было побольше мужества или хотя бы поменьше трусости и малодушия» (Новое время. 1880. 15 февраля).

²⁹⁴ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140.

На 17 февраля приходились его именины. Его племянник (сын брата Андрея Михайловича) Саша Достоевский, студент-медик, сообщает родителям в Ярославль, что в этот день он посетил дядю, чтобы его поздравить. «При мне он получил письмо от вас и, видимо, был очень доволен этим... Часу в седьмом я пошёл к ним опять (племянник зван на семейный обед. – *И.В.*). Кроме меня, обедал ещё Николай Николаевич Страхов...»²⁹⁵

Именины отмечаются скромно, в домашнем кругу; никаких признаков паники заметно.

19 февраля – в тот самый день, когда, по словам газет, «ожидается что-то невероятное – взрывы, пожары, беспорядки»²⁹⁶, – он откликается на чьё-то любезное приглашение (повидимому, графини А. Е. Комаровской): «Изо всех сил постараюсь быть...»²⁹⁷.

Один из его героев говорит, что человека лучше всего можно определить как существо, которое ко всему привыкает...

Правда, сам день 19 февраля прошёл сравнительно спокойно. Пожаров и взрывов не последовало; была зажжена лишь иллюминация – свечи, транспаранты, царские вензеля. По улицам двигались густые толпы гуляющих. «Только дворники, – замечает очевидец, – безотлучно стоявшие на своих местах, указывали на то, что не всё в порядке, что нечто висит в воздухе и ожидается». Государь проехал по Большой Морской в закрытой карете, плотно окружённый казачьим конвоем. Раздалось протяжное «ура». «Он бы проехал в коляске, да не по нынешнему времени, – сказала какая-то женщина из простонародья»²⁹⁸.

Остаётся ли Достоевский в эти дни сторонним наблюдателем или же пытается вмешаться и по мере сил непосредственно воздействовать на совершающиеся события?

Не имея, как в прежние годы, собственного печатного органа, он, старый опытный публицист, всё-таки изыскивает способ заявить о *своём* понимании происходящего и намекнуть на *свою* программу.

Адрес на высочайшее имя: возможности жанра

Он выступает в непривычном для него литературном жанре. По просьбе Славянского благотворительного общества (товарищем председателя которого он избран совсем недавно, 3 февраля) он пишет проект юбилейного адреса государю. 14 февраля он зачитывает его в общем собрании членов-благотворителей²⁹⁹.

Этот документ никогда не комментировался и не привлекал внимания исследователей.

У нас есть возможность сравнить печатный вариант с его неизвестной (первоначальной) редакцией.

Жанр верноподданнических адресов имеет свои каноны. И Достоевский старался не нарушать таковые. Однако следует признать, что ему это не вполне удалось. Ибо в достаточно строгую «отработанную» форму адреса на высочайшее имя автор умудрился втиснуть смысл, намного превосходящий уровень допустимого. Такое *превышение* заметно отличает этот документ от сочинений подобного рода.

Разумеется, в адресе весьма нелестно аттестуются «нетерпеливые разрушители... твёрдо верящие тому, что какая бы гибель, какой бы хаос ни произошли от их кровавых злодейств, но всё-таки происшедшее будет лучше, чем то, что они теперь разрушают».

²⁹⁵ Литературное наследство. Т. 86. С. 496.

²⁹⁶ Новое время. 1880. 15 февраля.

²⁹⁷ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 143.

²⁹⁸ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 140.

²⁹⁹ Биография... С. 47–49 (Приложения).

Зло громко названо, но словарь для обличения зла выбран несколько необычный. «Эти юные русские силы, увы, столь искренно заблудившиеся (подчеркнуто нами. – И.В.)» – подобные эпитеты плохо сочетаются с подлежащим безоговорочному осуждению предметом.

Ещё одна странность: в тексте адреса наличествуют, казалось бы, незаметные, но на самом деле весьма существенные различия. «Злодейство» изображается автором не по обычному охранительному шаблону – как некая мрачная, сомкнутая и нерасчленённая сила, а, так сказать, многоступенчато. Вначале «явились люди не верующие ни в народ русский, ни в правду его»; затем пришли упомянутые «нетерпеливые разрушители»; эти последние, в свою очередь, «подпали наконец под власть силы тёмной, подземной, под власть врагов имени русского, а затем и всего христианства». Таким образом, намечены три звена, вовсе не одинаковые и не равные друг другу. И если два последних расшифровываются довольно просто (это радикально настроенная молодёжь и воздействующие на неё «нелегалы», профессиональные царевбийцы), то первая, смутно обозначенная ступень этой триады заслуживает особого внимания.

Ибо здесь подразумеваются именно те, кто, по мнению Достоевского, являются духовными предтечами современного нигилизма – нигилисты нравственные: прекраснотушные (и равнодушные) люди сороковых годов.

Приведём эту мысль так, как она была выражена в первоначальной редакции (не вошедшие в печатный текст слова поставлены в квадратные скобки): «Рядом с истинными и горячими сердцем слугами Отечеству явились люди [равнодушные сердцем, ленивые], не верующие ни в народ русский, ни в правду его, ни даже в Бога его, [а вслед за сими пришли не верующие даже и в человечество и живущие только чтоб как-нибудь дожить свои годы спокойнее]³⁰⁰]³⁰¹. От них-то и произошли «нетерпеливые разрушители».

Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников, то в значительной мере перекладывается на всё образованное общество в целом, не исключая «верхов».

Разумеется, такая «обоюдострая» трактовка не могла вызвать у руководителей русской правительственной политики должного идеологического удовлетворения. Не потому ли первоначальный текст адреса подвергается последующей правке?

На сохранившемся беловом списке Анна Григорьевна оставила чёткую пояснительную запись: «Адрес Славянского Благотворительного Общества, поднесённый им Е<го> И<мператорскому> В<еличеству> Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года, в день двадцатипятилетия Его царствования, был составлен по желанию Совета Славянского Общества Ф. М. Достоевским, товарищем Председателя Общества. Адрес этот был представлен А. А. Киреевым на просмотр тогдашнему Министру Внутренних Дел Макову. Министр, просмотрев адрес, просил сделать некоторые изменения, указав отдельные места, найденные им неудобными. Настоящий адрес, списанный с подлинника, есть первоначальный»³⁰².

Подлинник ныне находится в той же архивной папке. Отдельные места отчёркнуты на полях карандашом; рядом кратко помечено: «снять». Во исполнение министерской воли рукой Достоевского внесены соответствующие исправления.

³⁰⁰ Из круга деятелей сороковых годов, с которыми общался Достоевский, эта характеристика – в персональном плане – более всего приложима к таким фигурам, как В. П. Боткин – тонкий эстетик и гурман, в равной мере знаток духовных и чувственных наслаждений (как язвительно заметил Тургенев, у Василия Петровича Боткина – несколько ртов: эстетический, философский и т. п., и всеми он чавкает).

³⁰¹ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 2а. Л. 2.

³⁰² Там же. Л. 7 об.

Одобрения Макова не вызвало и место о славянском единении («о единении только общими фразами» – указал на полях министр); по его требованию были сняты также слова о человечестве, которое предчувствует уже «своё великое будущее разрушение»³⁰³.

Итак, в качестве редактора сочинённого Достоевским текста выступает один из высших сановников Империи – Лев Саввич Маков³⁰⁴. Его замечания идут по трём направлениям.

Во-первых, он сглаживает слишком дробную классификацию различных степеней нигилизма и ослабляет указания на его духовные истоки (все эти *литературные* тонкости раздражают власть, предпочитающую видеть перед собой злобного, примитивного и единообразного врага). Во-вторых, – в видах высшей политики – приглушаются панславистские мотивы. И, наконец, убирается эсхатологический момент, вовсе не уместный в юбилейном словоговорении.

Впрочем, в окончательной редакции осталось упоминание об «исходе всей тоски русской»: фраза выдаёт автора.

Однако автора выдаёт и многое другое.

В сугубо *ритуальный* текст Достоевский умудряется вложить практически полезный, можно даже сказать, утилитарный смысл. Отсюда повышенная идеологичность документа: он – своего рода «подсказка» верховной власти. Достоевский пытается «внедрить» в сознание монарха ту нехитрую формулу, о которой уже упоминалось выше: «царь – отец, народ – дети». А раз так, то «дети всегда придут к Отцу своему *безбоязненно*, чтобы выслушал от них с любовью о нуждах их и о желаниях...». Отсюда уже один шаг до «позовите серые зипуны» – того, что будет всенародно высказано через год, в последнем «Дневнике».

Автор адреса явно торопит события.

«Юбилейное» отодвигается на второй план, зато самым настоятельным образом подчёркивается один момент, выглядящий в произведениях подобного жанра двусмысленно и чужеродно: «Мы верим в свободу истинную и полную, живую, а не формальную и договорную, свободу детей в семье отца любящего и любви детей верящего, – свободу, без которой истинно русский человек не может себя и вообразить»³⁰⁵.

Вспомним: «Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит».

То, что как руководство к действию обозначено в адресе Александру II, через несколько месяцев подвергается жёсткому сомнению – в записи «для себя». Ибо формула «отец – дети» – не столько признание существующей исторической данности, сколько указание на историческую *возможность* – желаемую, долженствующую осуществиться.

В послании, адресованном российскому самодержцу, Достоевский делает главный упор на своей этико-исторической программе. Русской монархии предлагался идеал, не совместимый ни с её собственной исторической сутью, ни с её действительными политическими намерениями.

Это прекрасно понял не кто иной, как высочайший адресат.

³⁰³ Там же. Л. 2–2 об.

³⁰⁴ Вскоре после оставления Министерства внутренних дел он станет министром почт и телеграфов, а позднее, в 1883 г., покончит жизнь самоубийством.

³⁰⁵ Биография... С. 48 (Приложения).

Верноподданный нигилист

Официальная версия гласила: «Адрес этот был доложен Государю Министром внутренних дел, и Государь повелел: “благодарить Славянское общество за выраженные им верноподданные чувства”»³⁰⁶.

Однако сохранилось ещё одно – неофициальное, но в высшей степени ценное свидетельство. Анна Григорьевна (женщина замечательно аккуратная) на дошедшей до нас рукописи адреса (как раз на первоначальной его редакции) сделала следующее примечание: «Этот адрес, исправленный, по указанию Министра Внутренних дел Л. С. Макова был представлен Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года. По словам министра, Государь по прочтении адреса “соизволил” выразиться, что “Он никогда не подозревал Славянское Благотворительное Общество в солидарности с нигилистами”»³⁰⁷.

Поразительный факт: адрес, подвергнутый министерской редакции, даже в таком виде вызвал августейшее недовольство (или, по крайней мере, августейшую иронию). Александр II оказался более проницательным читателем, нежели его министр³⁰⁸.

И – политически более «зрелым», чем все Славянское благотворительное общество, где «проект адреса был единогласно одобрен и покрыт многочисленными подписями», чему, возможно, способствовало ораторское искусство Достоевского, который, как засвидетельствовал позже К. Н. Бестужев-Рюмин, «наэлектризовал все собрание, читая *своё исповедание веры*»³⁰⁹.

До председателя Славянского благотворительного общества, по всей вероятности, ещё не дошёл императорский сарказм. Зато сарказм этот, надо полагать, хорошо запомнился министру внутренних дел, оказавшемуся, несмотря на все свои усилия, столь некомпетентным редактором и цензором. Маков не разобрался в истинной подоплёке слегка подправленного им документа и со спокойной совестью препроводил его дальше. За что и получил высочайший нагоняй³¹⁰.

Правда, упрекая Славянское благотворительное общество в «солидарности с нигилистами», государь скорее всего шутил. Однако в монаршей (как и во всякой) шутке была доля истины. Ибо то, что от лица Общества осмеливается предлагать Достоевский, по своему нравственному радикализму «рифмовалось» с радикализмом политическим.

Эту «рифму» остро чувствовали некоторые проницательные современники.

³⁰⁶ Там же. С. 49.

³⁰⁷ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 2а. Л. 10 об.

³⁰⁸ Здесь возможно одно возражение. А именно – что слова, сказанные государем, вовсе не содержали насмешки и должны быть понимаемы буквально. Но почему вдруг императору вздумалось *оправдываться* перед Славянским благотворительным обществом? Да и само построение фразы было бы в таком случае иным: «никогда *и* не подозревал» и т. д. В данном же контексте «никогда не подозревал» равнозначно по смыслу «вот уж никогда не думал» и проч.

³⁰⁹ Биография... с. 49–50 (Приложения).

³¹⁰ Макова, говорит Мещерский, «знали все за любезного человека... за хорошего составителя деловой бумаги... Маков мог быть хорошим товарищем министра, но быть министром, с значением первенствующей и важнейшей тогда политической роли, – он и во сне не думал» (Мещерский В. П. Мои воспоминания (1865–1881). Часть II. Санкт-Петербург, 1898. С. 415). Кроме того, у Макова был уже однажды подобный «прокол». В 1878 г., сразу же после убийства Мезенцова, министр проявил несвойственную для правительственного бюрократа инициативу: он воззвал к общественному мнению (см.: Правительственный вестник. 1878. 20 августа). Этот *несоответственный* в устах правительства призыв (в чём-то предвосхитивший будущее обращение к обществу Лорис-Меликова) был принят кое-кем за чистую монету. Но когда харьковское и черниговское земские собрания поспешили на него отозваться, их постановления были кассированы, а авторы заподозрены в политической неблагонадёжности (См.: Богучарский В. А. В 1878 году // Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 126–131).

Парадоксы графа де Воллана

Уже упомянутый ранее граф де Воллан (публицист и дипломат, человек достаточно консервативных убеждений) пишет в своих «Очерках прошлого»: «Он фурьерист», – сказал про него Суворин. И совершенно правильно. Пускай внимательно прочтут его творения и убедятся, что он радикальнее Щедрина... Люди, которые начитаются Достоевского, начнут требовать коренного исправления социального строя и не удовольствуются буржуазным парламентаризмом. Они поставят вопрос ребром, чтобы не было бедности».

Итак, современник Достоевского и безусловный поклонник его таланта полагает, что автор «Бесов» радикальнее самого Салтыкова-Щедрина (не говоря уже об участниках тургеневского обеда!). Мнение достаточно парадоксальное: тем более что де Воллан толкует о «коренном исправлении социального строя», иначе – о полном пересоздании общественных отношений.

Де Воллан передаёт слова Достоевского о том, что «он когда-то был за петрашевцев, но давно излечился, и от души ненавидит всех революционеров». Допустим, что эти слова действительно были произнесены собеседником графа (они вполне могли быть им произнесены). Однако отношения Достоевского с русской революцией неизмеримо сложнее его собственных самооценок.

То, о чём предпочли бы умолчать многие единомышленники де Воллана, вдруг выговаривается им самим с поразительной откровенностью. «В случае революции, – пишет граф, – Достоевский будет играть большую роль».

Что же имеет в виду автор этого поистине ошеломляющего заявления (которое, как ни странно, оставалось практически неизвестным: нам не удалось встретить ни одного упоминания о нём в литературе)? Уж, наверно, не то заманчивое обстоятельство, что Достоевский лично пошёл бы на баррикады или же – в согласии со своей «ненавистью» к революционерам – против баррикад. Подразумевается совсем иное: центральная роль Достоевского в той предполагаемой нравственной ситуации, которую может создать русская революция.

Он – человек экстремы, человек последних вопросов – и, конечно, он будет «выброшен» социальной катастрофой на историческую авансцену. Волею судеб он (или его создания) должен очутиться в горниле раскалённых общественных страстей.

В первую очередь имеется в виду его исключительный духовный авторитет.

«Он овладел молодыми умами, – продолжает де Воллан, – он говорит сердцу человека, возвышает вас, его проповедь страданий как нельзя более подходит к общему настроению молодёжи. Щедрин – это наш Вольтер, а Достоевский – Руссо, и влияние его скажется через двадцать, тридцать лет».

Прогноз чрезвычайно знаменательный, равно как и сопоставление Достоевского с Руссо – в плане *исторического кануна*. Но позволительно спросить о другом.

Почему именно «проповедь страданий», то есть как раз то, в чём обычно принято упрекать Достоевского, так «подходит к общему настроению молодёжи»? Не потому ли, что она, эта проповедь, отвечает тайной, неодолимой и неизбежной потребности – «жертвовать собой за правду» – тому, что Достоевский определял, если вспомнить, как «национальную черту поколения»?

Страдание воспринимается его молодыми читателями не только как средство личной нравственной гигиены, но и как общественный долг.

Вспомним: «Его бы казнили».

«...Учение Достоевского, – заключает де Воллан, – так же революционно, как и учение Христа, несмотря на то, что в нём воздаётся Кесарю – кесарево».

В адресе Славянского благотворительного общества кесарю воздаётся кесарево (хотя при этом сам «кесарь» превращается в кого-то иного). Но, может быть, «заодно» и меч кесаря удостоивается авторского благословения?

Тут следует возвратиться к злополучной фразе об «уничтожении народа», к сюжету, который уже рассматривался выше.

Если верить де Воллану, Достоевский, приведя вышеуказанную фразу, добавил: «Они (то есть авторы этой фразы. – *И.В.*) похожи на гг. генералов, вроде Гурко, которому ничего не значит сказать: “я сошлю, повешу сотню студентов”. Да, они такие же, как г. Гурко»³¹¹.

Это ещё одно сенсационное заявление.

Иосиф Владимирович Гурко – герой Русско-турецкой войны, в 1879 году был назначен генерал-губернатором Петербурга. На этом посту он всячески стремился поддержать свою *боевую* репутацию: например, подписал смертный приговор Дубровину. Начальствуя в столице, генерал не останавливался перед самыми крутыми административными мерами (правда, заменив покушавшемуся на Дрентельна Мирскому смертную казнь вечной каторгой, герой Шипки удостоился царской реплики, что в данном случае он «действовал под влиянием баб и литераторов»³¹²).

Имя Гурко названо, как помним, рядом с редактором «Отечественных записок»: трудно вообразить более нелепое сочетание! Выходит, что Достоевский ставит на одну доску и тех, кого мы привычно именуем революционными демократами, и тех, кто по долгу службы им противостоит.

Угроза генерал-губернатора, кем-то Достоевскому переданная (уж не его ли высокопоставленными знакомыми?), угроза, подтверждаемая к тому же практическими действиями, вызывает у него такой же ужас и отвращение, как и фантастическое намерение «прогрессистов» «уничтожить народ».

Итак, правительство оказывается не менее виновным, чем те, против кого направлены его беспощадные удары. И русская революция, и русская реакция ставятся на одну доску: они проистекают, по мнению Достоевского, из одного общего источника. Главная причина того и другого – вековой разрыв с народом. Отсюда следовало, что взаимоистребительное противоборство ни к чему не приведёт: оно бессмысленно, ибо не устраняет корень зла.

Он не сочувствует прибегающему к драконовским мерам правительству в той же мере, в какой не сочувствует жестокому натиску террористов. Он не принимает их борьбу как историческую необходимость.

Он вынашивает собственное решение.

Да, в адресе Славянского благотворительного общества кесарь получил кесарево. Но получил сравнительно немного. Взамен же от него потребовали гораздо большего: его попытались обратить в чужую веру.

Но государство вновь не пожелало перевоплощаться в «церковь». За царской шуткой о «солидарности с нигилистами» проглядывало плохо скрываемое недовольство теми идеальными умствованиями, которые никоим образом не соответствовали видам государственной власти.

Ибо в феврале 1880 года Александру II было не до смеха.

Источники информации

Остаётся выяснить последнюю деталь: каким образом и когда высочайший отзыв (совершенно неофициальный) стал известен Анне Григорьевне Достоевской.

³¹¹ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 124–125.

³¹² Троцкий Н. А. Царские суды против революционной России. Саратов, 1976. С. 226–227.

Исходя лишь из почерка, бумаги и чернил, невозможно установить, когда именно Анна Григорьевна дополнила текст адреса своим письменным комментарием. Но думается, что это было сделано через некоторый промежуток времени после самого события, во всяком случае – уже после смерти Достоевского.

Кто же был информатором Анны Григорьевны?

В своей записи она ссылается на слова министра. Однако никаких сведений о её личном знакомстве с Маковым у нас нет (да и вряд ли при этом он стал бы пускаться в такие откровенности). Поэтому естественно предположить, что мнение государя было сообщено министром внутренних дел кому-то из «своих», то есть лицу, близко стоящему к правительственным и придворным сферам.

Анна Григорьевна говорит, что проект адреса был представлен Макову через А. А. Киреева. Очевидно, через него же он был передан обратно – для доработки. Таким образом, именно Киреев служил в данном случае посредующим звеном между Славянским благотворительным обществом и правительственной властью³¹³.

Можно предположить, что именно Кирееву – как лицу заинтересованному – Маков доверительно сообщил императорское мнение о представленном адресе. Эти сведения не подлежали огласке – и генерал, человек светский, сдержал обещание, надо полагать, данное им министру. Но смерть Александра II, а вскоре и Макова освободила Киреева от данного слова, и он счёл возможным поведать о высочайшей «резолуции» либо самой Анне Григорьевне (которая аккуратно и без каких-либо рассуждений это зафиксировала), либо кому-то из общих знакомых – с последующей передачей той же Анне Григорьевне.

Но справедливо ли полностью исключить предположение, что самому автору адреса ничего не было известно об отзыве государя? Ведь в предсмертном сказанном о царе «что-то уж долго не верит» можно усмотреть следы какого-то личного чувства: обиды, что ли. Не был ли сделан Достоевскому какой-то намёк относительно того, о чём знал Маков и, весьма возможно, Киреев?

Впрочем, роль Киреева как посредника не ограничилась подачей адреса. Через некоторое время он стал участником ещё одного эпизода, который, как представляется, находится в некоторой связи с предыдущим.

³¹³ Генерал А. А. Киреев, поборник распространения православия на католический Запад, и его сестра О. А. Новикова (консервативная публицистка) – знакомые Достоевского. Разумеется, генерал, «состоящий при великом князе Константине Николаевиче», – самая подходящая фигура для ведения дел с министрами.

Глава VII. Недрёманное око

Загадочный аноним

12 июня 1875 года Анна Григорьевна писала из Старой Руссы в Эмс: «Я решительно не понимаю, почему письмо моё от 31 мая отправлено отсюда 3-го июня, это Бог знает что такое! Поговорю об этом на почте, но вперёд знаю, что ответят какой-нибудь вздор и скажут, что задерживают письма в Петерб^урге». Уж не Готский ли распорядился доставлять ему мои письма ради наблюдения...»³¹⁴

Имя Готского названо не случайно. Он – едва ли не главный источник тех неожиданных волнений, которые смутили размеренную жизнь Достоевских в Старой Руссе.

В апреле 1875 года главе семьи пришлось хлопотать о заграничном паспорте. Процедура была привычной: с 1862 года она проделывалась неоднократно. Тогда, в 1862 году, его, недавно возвращённого из Сибири бывшего государственного преступника, одолевали сомнения: позволят ли? Паспорт выдали; правда, при повторных обращениях время от времени возникала ведомственная переписка.

«Кто он такой?» – вопрошал в 1867 году далёкий от изящной словесности шеф жандармов. «Автор “Мёртвого дома” и других литературных произведений»³¹⁵, – дал точную справку один из более образованных чиновников.

...Уехав в 1867 году вместе с молодой женой, он вернулся только через четыре года. Ему удалось таким образом избавиться на время от кредиторов. Спаситься от опеки государства было сложнее. Пока он переезжал из одного города Европы в другой, в III Отделение поступил агентурный донос: его имя называлось в числе пребывающих в Женеве «экзальтированных русских». В вину вменялись близкие отношения с Огарёвым.

Заграничный осведомитель сгущал краски: русской эмиграции будущий автор «Бесов» явно сторонился. Что же касается Огарёва, то здесь скорее имела место душевная приязнь, основанная на давнем знакомстве, на личных, а вовсе не политических симпатиях.

Тем не менее было заведено дело. Генерал-майор свиты его величества и шеф жандармов Н. В. Мезенцов (возможно, скорбевший, что не проявил в своё время надлежащей бдительности) отдал следующее распоряжение: «При возвращении из-за границы в Россию отставного поручика Фёдора Достоевского произвести у него самый тщательный осмотр, и если что окажется предосудительное, то таковое немедленно представить в III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это Отделение»³¹⁶.

Этот совершенно секретный циркуляр был направлен на все западные и южные таможни России (до николаевской и евпаторийской включительно), через которые Достоевскому вздумалось бы вернуться на родину.

Его предупредили.

«Я слышал, что за мной приказано следить, – пишет он из Швейцарии А. Н. Майкову. – Петербургская полиция вскрывает и читает все мои письма... Наконец я получил анонимное

³¹⁴ Переписка. С. 185.

³¹⁵ Литературное наследство. Т. 86. С. 528.

³¹⁶ Секретные инструкции о Достоевском (Материалы Одесского архивного фонда). Публикация Ю. Г. Оксмана // Творчество Достоевского. Одесса, 1921. С. 36–38.

письмо о том, что меня подозревают (чёрт знает в чём), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтоб строжайше и нечаянно обыскать»³¹⁷.

Любопытно бы знать: из каких источников почерпнул Достоевский эту столь важную для него информацию? «Я слышал...» – но от кого же? Круг его знакомых за границей очень узок, и среди них мы не знаем никого, кто бы имел свободный доступ к секретам русской политической полиции. Ещё более загадочной выглядит ссылка на анонимного доброжелателя: кто в России, кроме самых близких родных и знакомых, знал его тщательно скрываемый от отечественных кредиторов и всё время меняющийся европейский адрес?³¹⁸¹⁴⁹¹

Возникает предположение (требующее, конечно, дальнейшей проверки): не получил ли Достоевский свои сведения именно из той среды, которая должна была в первую очередь (профессионально!) интересоваться такого рода вещами? А именно – из кругов русской эмиграции, обосновавшейся в Швейцарии.

Нелишне вспомнить, какую поразительную осведомлённость проявлял в подобных случаях Герцен, не только публиковавший наисекретнейшие документы III Отделения и других правительственных ведомств, но даже извещавший находящихся за границей соотечественников о посланных в Европу за государственный счёт тайных соглядатаях – с полным оглашением их места службы и звания. Именно Герцен обнародовал в 1862 году в «Колоколе» подготовленный тогдашним шефом жандармов В. А. Долгоруковым список лиц, подозреваемых в сношениях с «лондонскими пропагандистами» (этих лиц надлежало задерживать на границе и подвергать обыску): в списке значился и Достоевский³¹⁹.

Не исключено, что и на этот раз жандармский циркуляр стал прежде всего известен в герценовско-огарёвском кругу, а затем – доведён до сведения заинтересованного лица.

Это тем более вероятно, что вплоть до сентября 1868 года (письмо Майкову писано в августе) Достоевский с семьёй проживает в Швейцарии, сначала в Женеве, а затем – после смерти трёхмесячной дочери Сони – в Веве, куда, кстати, посоветовал переехать тот же Огарёв (и даже обещал приискать адрес)³²⁰.

Общение с Огарёвым во время пребывания Достоевского в Женеве протекает достаточно интенсивно: его имя то и дело мелькает в дневниках Анны Григорьевны. Он достаёт для Достоевского книги и сам в свою очередь впервые прочитывает врученное ему автором «Преступление и наказание» («Он говорил, – стенографически записывает в своём женевском, лишь недавно расшифрованном дневнике Анна Григорьевна, – что прочёл половину романа и, как кажется, она ему очень понравилась»). Он, сам постоянно нуждавшийся, в критический момент выручает Достоевского шестьюдесятью франками (просили триста, но Огарёв «даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме»³²¹). Во всяком случае, у неизвестного наблюдателя были все основания считать их отношения дружескими³²²¹⁴⁹².

³¹⁷ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 309.

³¹⁸ Анна Григорьевна тоже упоминает об анонимном письме, но замечательно, что она говорит о нём *не как воспоминатель* (то есть не указывает на известный лично ей факт получения письма), а скорее как *биограф-исследователь*: отсылает читателя всё к тому же письму Достоевского к Майкову, называя в сноске место его первой публикации¹⁴⁹¹.

¹⁴⁹¹ См.: Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 181–182.

³¹⁹ Колокол. 1862. 15 августа. С. 1172.

³²⁰ См.: Литературное наследство. Т. 86. С. 232.

³²¹ Там же. С. 240, 276.

³²² Анна Григорьевна отзывается об Огарёве очень тепло (именуя его «добрым и хорошим человеком»): «...мы оба были всегда рады его посещениям». Может быть, помимо прочего, Достоевского сближало с Огарёвым наличие у обоих падучей болезни. В результате одного из эпилептических приступов Огарёв упал в канаву и сломал ногу. 10 марта 1868 года Герцен извещает сына о больном: «...главное его слишком тормозит: Бакунин, Утин, Достоевский, Мерчинский, Чернецкий, Данич, мы и все его женевские собутыльники...»¹⁴⁹² Названы русские и польские эмигранты: Достоевский оказался здесь в интересной компании.

¹⁴⁹² Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 29. Кн. I. С. 284.

Однако так ли таинственен этот соглядатай?

1 марта (н. ст.) 1868 года. Достоевский пишет Майкову из Женевы: «С Священником я не познакомился. Но вот родится ребёнок – придётся сойтись».

Дочь Соня родится через четыре дня и, разумеется, будет крещена. Это таинство мог совершить только священник Русской православной церкви в Женеве Афанасий Константинович Петров.

В уже приводившемся выше письме к Майкову Достоевский пишет: «...а так как женевский священник по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам) служит в Тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женевском), с которым он имеет тайные сношения, как я знаю заведомо, некоторые из писем, мною получаемых, задерживались»³²³.

Столь категорическое указание, содержащее к тому же намёк на абсолютную надёжность сообщаемой информации («не по догадкам, а по фактам», «знаю заведомо»), не оставляет ни малейших сомнений в том, что сами факты получены из первых рук. Предупредив Достоевского, Огарёв (или его друзья) выполнили свой долг.

Через много лет Достоевский выпишет из «Отверженных» В. Гюго понравившуюся ему цитату: «*Il avait la religion de ses fonctions et il était espion comme on est prêtre*» («Он свято чтит свои обязанности, и он был шпионом, как бывают священником». – *фр.*)³²⁴ В «Дневнике писателя» 1877 года с неожиданной горечью замечено, что находятся священнослужители, которые на иные обращаемые к ним вопросы, если уж очень потребуются от них ответы, – «Ответят... пожалуй ещё доносом...»³²⁵.

Подтвердились ли подозрения Достоевского относительно женевского иерея? Трудно сказать. Но несомненно именно А. К. Петрову пришлось крестить и отпевать их первенца – Соню. И, возможно, исповедовать обоих супругов. Осталась ли нерушимой тайна исповеди? Как бы там ни было, они не прерывали знакомства, о чём свидетельствует письмо жены Петрова, отправленное Достоевским во Флоренцию в январе 1869 года. Отвечая на просьбу своего бывшего женевского знакомого (это письмо Достоевского до нас не дошло), матушка посылает ему 200 франков, извиняясь, что не может послать больше³²⁶. «Мой муж вам кланяется», – добавляет она. Надо всё же надеяться, что заём был произведён не из сумм тайной полиции.

...Тогда, в 1868-м, отвечая на жалобы Достоевского, Майков – по своей прикосновенности к делу петрашевцев сам некоторое время состоявший под полицейским надзором, – поспешил успокоить своего корреспондента: «И не мудрено, что швейцарская корреспонденция читается: мало там русских и польских революционеров живёт!.. Не знаю, при вас или без вас – было тайное распоряжение... читать все письма к Каткову и Аксакову, и в числе подозрительных личностей, с ними переписывавшихся, был пойман – кто бы вы думали? – наследник Алекс<андр> Александрович. Что же нам-то с вами обижаться, если и он отнесён к категории подозрительных... Итак, насчёт этого пункта можете быть спокойны и относиться к нему только с юмором».

Майков даже полагал, что чтение их писем посторонними лицами могло бы принести известную пользу. «Хотя, – добавляет он, – писали мы их, не предполагая, чтобы из-за плеча кто-нибудь запускать в них глазенапа»³²⁷. Вряд ли, однако, Достоевского могла слишком уте-

³²³ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 309.

³²⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 381.

³²⁵ Дневник писателя. 1877. Июль-август. Глава 1.

³²⁶ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 29. Часть I. С. 551 (Примечания).

³²⁷ А. Н. Майков. Письма к Ф. М. Достоевскому (Публикация Н. Т. Ашимбаевой) // Памятники культуры. Новые открытия. 1982. Ленинград, 1984. С. 73.

шить та мысль, что он в качестве наблюдаемого лица оказался в одной компании с наследником престола.

И, наконец, возникает ещё одно имя.

Встреча в Женеве

В марте 1868 года на одной из улиц Женевы Достоевский случайно встречается Герцена. «Десять минут поговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками, — сообщает он в письме к Майкову, — да и разошлись».

Не совсем понятно: откуда взялся этот враждебно-вежливый тон? Ведь ни о какой явной ссоре Достоевского с Герценом нам ничего неизвестно.

Ещё сравнительно недавно (в 1865 году) Достоевский, находясь в совершенно отчаянном положении (он сидел без копейки денег в Висбадене), обратился к Герцену за ссудой. В ожидании ответа он пишет А. П. Сусловой: «...С Г<ерценом> я в очень хороших отношениях, и, стало быть, быть не может, чтоб он во всяком случае мне не ответил... Он очень вежлив, да и в отношениях мы дружеских».

Через день он настойчиво повторяет ту же мысль: «Быть не может, чтоб Герц<ен> не хотел отвечать! Неужели он не хочет отвечать? Этого быть не может. За что? Мы в отношениях прекраснейших, чему даже ты была свидетельницей»³²⁸.

Правда, по своим политическим убеждениям они достаточно далеки друг от друга. Но ведь не мешает же последнее обстоятельство самым тёплым отношениям с Огарёвым. Да и с самим Герценом отношения — в 1865 году — «прекраснейшие». Меж тем с 1865 по 1868 год не произошло ничего такого, что в общественном плане могло бы их развести³²⁹.

Пожалуй, некоторое охлаждение могло наступить всё из-за той же просимой из Висбадена ссуды. Герцен наконец отозвался (извинившись промедлением: он был в горах), но вместо просимых 400 франков предложил только 150 гульденов. Предложил, но не прислал с тем же письмом, в котором содержалось предложение. Это несколько покорило Достоевского. «Прислал бы 150, — с обидой пишет он Сусловой, — и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делается»³³⁰.

Неясно, воспользовался ли в конце концов Достоевский предложением Герцена, но во всяком случае этот незначительный эпизод вряд ли мог стать причиной для разрыва. Всего за каких-нибудь полгода до их встречи на женевской улице Огарёв сообщал Герцену: «Сейчас был у Мёртвого дома, который тебе кланяется. Бедное здоровье»³³¹.

С чего бы Достоевскому, недавно передававшему поклон автору «Былого и дум», говорить с ним враждебно? Повторяем: политические идеалы могут быть различны (и в письмах к Майкову это всячески подчёркивается), но ведь при случайной встрече не обязательно заниматься их обсуждением. Кроме того, ни у Герцена, ни у Достоевского мы не обнаружи-

³²⁸ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 131.

³²⁹ Ср. слова Герцена во французском издании «Колокола» (*La Cloche*. 1864. 15 июня): «Журнал «Время», умеренный, но честный и исполненный великодушных симпатий, редактируемый выдающимся писателем Достоевским, мучеником, только что возвратившимся с каторжных работ...» Правда, в 1865–1868 гг. заметно ужесточается отношение Достоевского вообще ко всему западническому лагерю. Особенно — после ссоры с Тургеневым в Баден-Бадене летом 1867 г. Именно тогда в крайнем раздражении написано Н. Н. Страхову: «Все эти Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские... самолюбивы, бесстыдно раздражительны, легкомысленны, ругают и Россию» (Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 210). Справедливо предположение, что автор «Былого и дум» помимо прочего мог вызывать антипатию Достоевского своей бытовой устроенностью, материальным благополучием — особенно выразительным в сравнении с всегда нуждающимся Огарёвым. (См.: Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. Ленинград, 1974. С. 232–234).

³³⁰ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 132. Отголоски этого недовольства слышатся и в письме Анне Григорьевне от 18 ноября 1867 г.: «...попрошу у Огарёва 300 франков... Во-первых, он не Герцен...» (Переписка. С. 28).

³³¹ Литературное наследство. Т. 39–40. С. 469.

ваем признаков той взаимной неприязни, которая характеризует отношения, скажем, Достоевского и Тургенева³³².

И всё же у автора письма Майкову были серьёзные причины именно для такой тональности. Во-первых, не следует забывать, что он сообщает о своей встрече с Герценом *в Россию*, где не так давно людей привлекали к уголовной ответственности за сношения «с лондонскими пропагандистами». И если бы о встречах с Герценом стало известно III Отделению (уже информированному о связях его с Огарёвым, чьё имя, кстати, в письмах Достоевского в Россию не названо ни разу), то подобные сведения, надо полагать, не способствовали бы упрочению и без того не очень прочной политической репутации бывшего государственного преступника. Во-вторых, Достоевский писал не кому-нибудь, а Майкову: от этого адресата трудно было ожидать симпатий к издателю «Колокола».

Казалось бы, в сообщении о встрече с Герценом можно усмотреть момент определённой политической игры. Если Достоевский догадывался или знал, что его письма подвергаются перлюстрации, то он, разумеется, мог рассчитывать на правительственное любопытство и в этом случае. Он полагал вернуться скоро в Россию: естественно, что доверяемая русской почтой информация о встрече с Герценом и могла быть выдержана только в таком «враждебно-вежливом» тоне.

Дело, однако, в том, что письмо Майкову русской почтой не доверялось. Оно было отправлено в Петербург с оказией – при посредстве сестры Анны Григорьевны М. Г. Сватковской. Поэтому у Достоевского не было необходимости «шифроваться»: он говорит о своих подозрениях *открытым текстом*. Но, с другой стороны, очевидно, всё-таки учитывается вероятность того, что послание может попасть в чужие руки (случайная утеря письма, обыск или досмотр на границе, а главное, возможность ознакомления с текстом третьих лиц – как это произошло с полученным Майковым от Достоевского письмом с описанием его баденской ссоры с Тургеневым, и т. д.). Во всяком случае, Майков, имеющий обширные связи, мог дать этому письму некоторую огласку.

Поэтому допустимо, что негодование автора рассчитано и на других адресатов. Общество в лице Майкова ставится в известность, что Достоевский знает о неосновательных и вздорных против него подозрениях. Указание же на таинственное «анонимное письмо» имеет целью *скрыть* настоящий источник: не на разговоры же с политическими изгнанниками было в самом деле ему ссылаться!

Кстати, против существования «анонимного письма» (из России) можно привести следующий аргумент: если *его* письма подлежали просмотру, то где гарантия, что аналогичной процедуре не подвергались письма *к нему*?

Об анонимном письме он сообщает Майкову 2 августа 1868 года. Но ведь ещё в апреле Майков писал ему: «Одно очень высокостоящее лицо... сказала мне, что очень немудрено, что ваша переписка с Достоевским читается, потому что вы – литераторы». Это тоже своего рода предупреждение благополучно достигло Женевы и, вероятно, повлияло на некоторые политические акценты в эпистолярной Достоевского.

Он пишет Майкову: «Но каково же [это] вынести человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему Государя, – каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с “Колоколом”! дураки, дураки! Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!»³³³

³³² Можно предположить, что в Женеве имела место не одна «случайная» встреча с Герценом, а *несколько* – скорее всего в доме у больного Огарёва. Заметим, что приведённые выше взаимные упоминания (о встрече с Герценом и о посещениях Достоевским Огарёва) относятся к одному и тому же времени – марту 1868 года.

³³³ Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Сборник 2. Петроград, 1925. С. 350; Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 309.

Тут интересны два момента. Во-первых, грубое, предельно доходчивое (едва ли не в намеренно примитивной форме) объяснение «им» настоящего положения вещей. И во-вторых, – степень осведомлённости: он не только знает, что его подозревают, но и совершенно точно указывает, в чём именно.

К подобной «игре» с властью прибегал не один Достоевский. У него были славные предшественники.

Тайны супружеские и полицейские

29 мая 1834 года Пушкин назидал отъехавшую в родовое имение Наталью Николаевну: «Лучше бы ты о себе писала, чем о *Sollogoub*, о которой забираешь в голову всякий вздор – на смех всем честным людям и полиции, которая читает наши письма»³³⁴.

О полицейских забавах сказано вскользь и – насмешливо. Однако за этой усмешкой – предостережение. Негласный полицейский надзор (автор письма состоит под ним с 1826 года) выражает себя в формах, которые мало изменятся за следующие полвека: перлюстрация занимает среди них далеко не последнее место.

«Я не писал тебе потому, – возвращается Пушкин через несколько дней к той же теме, – что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство, *a la lettre*. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (*inviolabilité de la famille*) невозможно: каторга не в пример лучше»³³⁵.

Несмотря на «бешенство» (столь извинительное в подобных обстоятельствах), даётся изящная и отточенная формулировка. Пожалуй, даже слишком отточенная для супружеского письма. Но Пушкин и не думает скрывать своих намерений: «Это писано не для тебя...» – добавляет он тут же, не оставляя ни малейшего сомнения в том, кому на самом деле адресована его сентенция.

«...Будь осторожна... – говорит Пушкин в другом супружеском послании, – вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность»³³⁶.

В 1868 году письма Пушкина к жене ещё не были опубликованы. Но Достоевскому и не требовалось их знать, чтобы (скорее всего инстинктивно) избрать ту вынужденную ситуацией тактику, когда она (ситуация) такова, что *третий* собеседник остаётся незримым.

Довести свои соображения до сведения власти можно было, только используя её эпистолярное любопытство. Или – простительную в данных обстоятельствах нескромность друзей.

Предупреждение, полученное в 1868 году, запомнилось надолго. Через три года, возвращаясь в Россию, он решается взять свои меры.

«За два дня до отъезда, – вспоминает Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь». Анне Григорьевне расставаться с бумагами, естественно, не хотелось. «Но Фёдор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его несомненно будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году». Делать было нечего. «Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом погибли рукописи романов “Идиот” и “Вечный муж”... Мне удалось отстоять только записные книжки...»

³³⁴ Пушкин А. С. ПСС. в 10-ти т. Т. 10. Москва – Ленинград, 1949. С. 485.

³³⁵ Там же. С. 486–487.

³³⁶ Там же. С. 489.

Надо полагать, уничтожались не одни лишь авторские рукописи. По всей вероятности, огню были преданы все сколько-нибудь компрометирующие бумаги (письма Герцена и Огарёва?), а также документы, могущие пролить свет на источник и характер полученных Достоевским «анонимных» предостережений.

...Первое свидание с родиной состоялось в Вержболове. Жандармское предписание (трёхлетней давности) нимало не утратило своей свежести: их задержали.

«Как мы предполагали, – продолжает Анна Григорьевна, – так и случилось: на границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое (в 1869 году родилась вторая дочь – Люба. – *И.В.*) оставались, да ещё куча чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды, – бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать: “Мама, дай булочки”, что чиновникам скоро надоели её крики и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги и рукопись»³³⁷.

Анна Григорьевна мягко тушит сцену, внося в неё ноту семейного лиризма: окажись в отобранном багаже что-либо предосудительное, детский плач вряд ли бы помог.

Теперь вернёмся к 1875 году, к хлопотам по поводу очередного заграничного паспорта. И – к упомянутому выше Готскому.

В Петербурге заграничные паспорта нужно было испрашивать у градоначальника; находясь же в Старой Руссе – у новгородского губернатора. Дабы выяснить необходимые подробности, Анна Григорьевна направилась к старорусскому исправнику. «Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею до него дело. Порывшись в ящике своего письменного стола, он подал мне довольно объёмистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула её и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе: “Дело об отставном подпоручике Фёдоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой Руссе”. Я просмотрела несколько листов и рассмеялась.

– Как? Так мы находимся под вашим просвещённым надзором, и вам, вероятно, известно всё, что у нас происходит? Вот чего я не ожидала!

– Да, я знаю всё, что делается в вашей семье, – сказал с важностью исправник, – и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен»³³⁸.

Следует отдать должное служебной откровенности полковника Готского: очевидно, в его обязанности не входило знакомить жён своих подопечных с делами их мужей, а тем более давать эти документы им в руки. Но зато автор «Бесов» знал теперь с абсолютной точностью, что он всё ещё состоит под негласным полицейским надзором. Поэтому малейшие задержки в семейной переписке объясняются супругами просто: проделками Готского.

«Ясное дело, что письма в старорусском почтамте задерживают и непременно вскрывают, и очень может быть, что Готский, – откликается Достоевский на высказанное Анной Григорьевной подозрение. – Непременно, Аня, говори, кричи в почтамте, требуй, чтоб в тот же день было отправлено. Это чёрт знает что такое!»³³⁹

Меж тем как раз в то время, когда это письмо достигало Старой Руссы, в канцеляриях Министерства внутренних дел решался вопрос об освобождении отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского от полицейского надзора.

³³⁷ Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 198–199.

³³⁸ Там же. С. 277. Та самая «объёмистая тетрадь в обложке синего цвета», о которой говорит Анна Григорьевна, до сих пор не найдена. В ней могут содержаться интересные сведения о Достоевском и не дошедшие до нас образцы его корреспонденции.

³³⁹ Переписка. С. 195.

Обременённое многочисленными текущими заботами министерство предприняло попытку упорядочить свое разбухшее делопроизводство и избавиться от ряда поднадзорных «мёртвых душ» — тех, кто к середине семидесятых годов уже не представлял реальной опасности для спокойствия государственного. В списке лиц, подлежащих освобождению от секретного надзора в городе Петербурге, оказались 32 человека — и 9 июля 1875 года список был утверждён.

Одновременно с Достоевским полицейский надзор снимался с титулярного советника Александра Сергеевича Пушкина³⁴⁰.

Надо заметить, что в этом решении обнаруживается одна странность. В служебной переписке, посредством которой решался вопрос о дальнейшей участи автора «Преступления и наказания», совершенно не фигурируют компрометирующие его материалы 1867 года (а именно — женевский донос о сношениях его с Огарёвым и последовавшее засим распоряжение о его осмотре на русской границе). Более того: ещё годом раньше, отвечая на запрос о Достоевском (по поводу выдачи ему заграничного паспорта), 3-я экспедиция III Отделения, в чьём ведении должны были находиться эти материалы, сообщала, что у неё о Достоевском «сведений нет».

Позволительно спросить: уж не действовала ли тогда, в 1868 году, и теперь, в 1875-м, одна и та же рука? Иначе говоря, не исходило ли «анонимное письмо» от того же лица (или лиц), которые ныне сознательно скрыли от начальства именно те сведения, какие в 1868 году были заблаговременно сообщены Достоевскому?

Казалось бы, подобное предположение уничтожает нашу прежнюю версию: выходит, женевские эмигранты ни при чём. Но не допустим ли здесь некий промежуточный вариант: в 1868 году анонимный доброжелатель из недр III Отделения (уж не предшественник ли Клеточникова?) по известным ему каналам предупреждает русскую эмиграцию в Женеве, а та в свою очередь — Достоевского; в 1875 году то же лицо отстраняет от писателя угрозу навсегда остаться под полицейским надзором? Разумеется, всё это не более чем гипотезы, требующие для своего подтверждения или опровержения дальнейших разысканий.

Самого Достоевского не сочли нужным известить об изменении его административного положения — и он, равно как и Анна Григорьевна, пребывал в полной уверенности, что всё ещё находится под полицейской опекой. Поэтому понятны опасения Анны Григорьевны, высказанные ею в письме 1879 года: «Всё вижу восхитительные сны, но боюсь их рассказывать тебе, а то ты Бог знает что пишешь, а вдруг кто читает, каково?» И Достоевский вполне разделяет её резоны: «И если б не смущало то, что ты говоришь про почтовую цензуру, Бог знает бы что написал тебе»³⁴¹.

Это — почти текстуально! — совпадает с пушкинским: «Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее — охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен»³⁴². И — ещё в одном письме: «...если почта распечатала письмо мужа к жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом... Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни»³⁴³.

Опасения Анны Григорьевны относились именно к «тайне семейственных сношений»: нетрудно догадаться, что сдержанная подруга Достоевского вовсе не склонна верить эту тайну попечению правительства.

³⁴⁰ Литературное наследство. Т. 86. С. 600.

³⁴¹ Переписка. С. 302, 309.

³⁴² Пушкин А. С. ПСС. Т. 10. С. 496–497.

³⁴³ Там же. С. 484.

Положение делалось всё более унижительным. Было невыносимо, что самодовольный и глуповатый Готский, рисуясь перед Анной Григорьевной, благосклонно разрешал передать мужу, «что он ведёт себя прекрасно» и он, Готский, рассчитывает, что её супруг и впредь не доставит ему хлопот³⁴⁴. И всё это относилось к нему, известному всей читающей России; к нему, поносимому либералами и не признаваемому нигилистами; к нему, вхожему в дома великих князей и пользующемуся их августейшим расположением.

Такому двусмысленному и нетерпимому состоянию следовало положить конец.

Случай для этого представился: он, как думается, находился в некоторой связи с юбилейным адресом Славянского благотворительного общества.

Докладная записка министру внутренних дел

Как говорилось выше, все переговоры с Маковым относительно адреса вёл А. А. Киреев. Но в функции министра внутренних дел входили не только просмотр и исправление адресов на высочайшее имя. От него не в малой степени зависело, кому именно надлежит состоять под полицейским надзором.

Ещё в 1868 году Достоевский писал Майкову: «Не обратиться ли мне к какому-нибудь лицу, не попросить ли о том, чтоб меня не подозревали в измене Отечеству... и не перехватывали моих писем? Это отвратительно!»³⁴⁵ Но что он мог сделать, находясь в Швейцарии? Да если бы даже такое обращение и было предпринято тогда (то есть сразу после доноса), оно вряд ли имело бы шансы на успех.

Теперь ситуация была иной.

Очевидно, мысль обратиться к Макову через Киреева возникла у Достоевского в февральские дни 1880 года. Приведём в этой связи следующий документ.

10 марта

Многоуважаемый Фёдор Михайлович,

Я виделся сегодня утром с Л. С. Маковым, который повторил мне то, что я Вам уже передавал. Снятие с Вас полицейского надзора не встретит никакого препятствия, но так как никто кроме Вас не имеет права делать какие-либо заявления от Вашего имени, то для достижения желаемого результата необходимо, чтобы Вы потрудились написать Министру докладную записку вроде той, которую я Вам передал (*NB*, не забудьте наклеить марку в 60 коп.). Для большей скорости потрудитесь [доставить] записку Вашу ко мне.

Искренне Ваш, *А. Киреев*

Стремянная, № 5³⁴⁶

Из письма Киреева следует, что он уже зондировал почву и теперь сообщает результаты. Надо думать, первоначально Достоевский полагал, что неофициального, но вполне авторитетного ходатайства Киреева будет достаточно, чтобы вопрос решился положительно. Однако министр указал на необходимость надлежащей формальной процедуры.

Неизвестно, ориентировался ли Достоевский на какой-то упоминаемый Киреевым (очевидно, аналогичный) документ: до нас дошёл только его собственный черновик.

Докладная записка отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского.

³⁴⁴ Достоевская А. Г. С. 277.

³⁴⁵ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 310.

³⁴⁶ НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 69. Ср.: Гроссман Л. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Москва – Ленинград, 1935. С. 278 (далее: Жизнь и труды...). Л. Гроссман ошибочно датирует это письмо 1879 г. Передатировку см.: Литературное наследство. Т. 86. С. 602.

Всемилоостивейшим производством меня в прапорщики в 1856 году из [рядовых] унтер-офицеров 7-го Сибирского линейного батальона, в который вступил я [из] по отбытии четырёхлетних каторжных [гражданских] работ 2-го разряда в Омской крепости, мне были возвращены все мои гражданские права, утраченные мною за участие в деле о преступной пропаганде в 1849 году в Петербурге. На паспорте моём, выданном мне при отставке [из] 30 июня 1859 года в городе Семипалатинске, не значится, чтобы я был под присмотром полиции, тем не менее присмотр сей продолжается, как то мне напр. было сообщено [бывшим С.-Петербургским генерал-губернатором князем Суворовым] в 3-м Отделении Собственной его величества канцелярии, в которую я, отправляясь за границу, всегда должен был обращаться с особою просьбой, и наконец ещё в 1875 году, когда я, проживая зиму 1874–1875 годов в г. Старой Руссе, узнал от самого старорусского исправника, что состою у него под надзором. Со времени моего помилования и возвращения мне гражданских прав протекло 25 лет. На сотнях страниц высказ[ыв]ал я и высказываю свои убеждения и политические и религиозные. Убеждения эти я надеюсь таковы, что не могут подать повода [в том] к тому, чтобы заподозрить мою политическую нравственность, поэтому я и позволяю себе просить, дабы полицейский надзор за мною был прекращён³⁴⁷.

Прежде всего поражает тон. Автор записки твёрд, сдержан, исполнен чувства собственного достоинства. В конце – он даже несколько высокомерен и насмешлив. Здесь нет *сильных* выражений, нет ничего от кипевшего в его письмах негодования («подозревают чёрт знает в чём», «чёрт знает что такое» и т. п.). Но зато отсутствует и другое: не выставляется ни одного заискивающего аргумента (как то: чистота намерений, патриотизм, любовь к государю и проч. – то есть те добродетели, на которые указывалось в частном письме – Майкову). Он как бы намеренно предпочитает «оставаться при факте»: строго придерживаться формально-юридического взгляда на вещи. Но за этим лаконическим, спокойным, деловым слогом – ощущение правоты. Он не укоряет власть и не ищет её расположения: он говорит с нею на равных.

При этом автор обнаруживает незнание некоторых полицейских тонкостей. Адресаты его записки могли усмехнуться довольно наивному заявлению просителя, что в его паспорте не значится, чтобы он был «под присмотром полиции». «Не значится» именно потому, что «присмотр» был секретным.

Черновик выдаёт и некоторые колебания автора. Так, пишется, а затем вычёркивается имя бывшего петербургского генерал-губернатора князя Суворова. В 1863 году князь Италийский («гуманный внук воинственного деда», по язвительному слову Тютчева) немало способствовал получению Достоевским заграничного паспорта, и благодарный проситель опасается бросить на его имя невольную тень.

...Административный механизм сработал на сей раз довольно быстро. Маков отнёсся в III Отделение: он излагал поступившую к нему записку и просил почтить его, Макова, «уведомлением о вашем по настоящему ходатайству г. Достоевского заключении». Прежде чем направить таковое в Министерство внутренних дел, чиновники III Отделения вновь подняли свои архивы и составили о ходатае обстоятельную справку. И хотя нынешний шеф жандармов (а им к этому времени уже успел стать – по совместительству – Лорис-Меликов) – был лицом, очевидно, более эрудированным, нежели покойный Мезенцов, чиновник, составлявший справку, не преминул на всякий случай заметить: «Фёдор Достоевский известный наш литератор». Одна эта – почти отеческая – интонация уже говорила в пользу просителя.

31 марта 1880 года III Отделение с лёгким сердцем ответило министру внутренних дел, что «со времени освобождения Достоевского в 1875 году от надзора в III Отделении не про-

³⁴⁷ Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 246–247.

изводилось никакой переписки о подчинении его вновь гласному или секретному надзору полиции»³⁴⁸.

Неясно, получил ли наконец Достоевский официальное уведомление о снятии с него полицейского надзора (такой бумаги в его архиве не обнаружено) или же ему сообщили об этом устно³⁴⁹, но во всяком случае последние десять месяцев своей жизни он мог чувствовать себя *вполне* свободным.

И всё же во всей этой истории был один тонкий, почти неуловимый, но, очевидно, не совсем безразличный для него нюанс.

Цена свободы

Докладная записка Макову была подана почти сразу же вслед за адресом на высочайшее имя. Конечно, здесь не было никакой видимой связи, и ему не хотелось бы думать, что кто-нибудь может усмотреть таковую. И всё же... Сам факт его авторства (в случае с адресом) должен был иметь в глазах министра внутренних дел определённый политический смысл. Выступление известного русского писателя в этом специфическом жанре как бы свидетельствовало о его политической благонадёжности. Макова мало трогали авторские идеи, сокрытые в тексте адреса (да и он, как мы видели, не очень-то умел в них вникать); он тоже предпочитал «оставаться при факте».

Факт же говорил сам за себя.

Независимо от желания Достоевского (и даже вопреки ему) адрес Славянского благотворительного общества мог выглядеть *как плата*. Здесь тоже был момент игры: баш на баш. Конечно, подай он докладную записку до адреса, дело, надо полагать, кончилось бы тем же: ведь надзор как-никак был уже снят. Но он-то этого не знал. Со стороны могло показаться, что он воспользовался случаем.

Чтобы избавиться от одного унижения, нужно было пойти на риск испытать другое. Ему могли отказать – и в этой ситуации адрес явился бы сильным козырем. Один этот текст в глазах правительства мог перевесить те «сотни страниц», на которые не без скрытой гордости указывал он в своей докладной записке.

Тем знаменательнее, что даже в таком – чрезвычайном – случае он не поступился ничем: адресуясь прямо к государю, он высказал только то, во что искренне верил. Чем и навлёк невольно на Славянское благотворительное общество полускрытый монарший упрёк.

Интересно: обратился бы он к министру, если бы до него дошли подлинные слова Александра II?

Тут уместна одна аналогия.

В 1854 году, в Семипалатинске, он вздумал сочинить тёплые патриотические стихи на актуальную тему: только что был оглашён манифест – начиналась война с коалицией. Неуклюжая попытка вторгнуться в пределы чужеродного жанра обнаруживала искренние, хотя и не очень искусно выраженные поэтические чувствования. Однако дальнейшие упражнения в версификации (приуроченные ко дню рождения вдовствующей императрицы и к торжествам по случаю коронации и заключения мира) дышали натужным пафосом и лирическим хладом. («Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность»³⁵⁰, –

³⁴⁸ Литературное наследство. Т. 86. С. 602, 603.

³⁴⁹ В документах Министерства внутренних дел значится, что «ему было объявлено» об этом «на поданную им в 1880 году докладную записку». «Объявлено», – очевидно, всё-таки устно (лично или через Киреева), ибо письменный документ такой важности был бы непременно сохранён Анной Григорьевной.

³⁵⁰ Письма. Т. 1. С. 529.

лаконически заметит ему старший брат, не подозревавший о будущих гениальных откровениях капитана Лебядкина.)

Однако худо-бедно, а стихи выполнили свою *служебную* функцию: пошли по инстанциям, были доложены начальству и вызвали его одобрение. Рядовой 7-го Сибирского линейного батальона теперь с большим основанием мог рассчитывать на перемену судьбы.

Судьба действительно переменилась (он был произведён в унтер-офицеры, а затем получил первый офицерский чин), но «сверхзадача» так и не была решена. Главная цель, ради которой он готов был предпринять и не такие поэтические подвиги, эта цель оставалась столь же недостижимой, как и раньше. Новый государь, согласившись на производство его в прапорщики, приказал «учредить за ним секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его благонадёжности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды»³⁵¹.

Это было в 1856 году. Именно с этого момента началась негласная государственная опека, продолжавшаяся почти двадцать лет (он полагал, что двадцать пять). Казалось бы, по точному смыслу высочайшего предписания «секретное наблюдение» должно было прекратиться с того момента, когда ему позволят печататься; на деле «совершенное удостоверение» в его благонадёжности отодвинулось почти на два десятилетия.

Да и наступило ли оно вообще?

Если Александр II знал (а точно ли он *не* знал?), кто является автором поднесённого ему текста, тогда его недоумение кажется не столь уж странным. Упрёк Славянскому благотворительному обществу (даже смягченный высочайшей усмешкой) выглядел несправедливо. Чего нельзя сказать о намёке в адрес бывшего политического преступника: повод с его стороны для «солидарности с нигилистами» мог бы отыскаться всегда.

Его давние стихи преследовали чисто утилитарную цель: доказать. Доказать действенность наказания, искренность раскаяния, лояльность. У адреса 1880 года задача была совершенно иная: *указать*. Указать власти на возможность такого мироустройства, при котором самодержавие и свобода станут надёжнейшими гарантами друг друга.

Но указание на второе из этих понятий свидетельствовало о тайном сомнении в первом.

Разумеется, адрес, как и стихи, тоже не был его *специальностью*. Но он, сочинитель, не превратился в слепое орудие жанра: сам жанр был побеждён и вынужден был служить его целям.

³⁵¹ Литературное наследство. Т. 22–24. Москва, 1935. С. 722.

Глава VIII. Свидетель казни

Государственный переворот

Итак, проект адреса был принят в общем собрании Славянского благотворительного общества. Это произошло 14 февраля. На следующий день в петербургских газетах появился именной указ от 12 февраля об учреждении Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Ей вменялось в обязанность «положить предел беспрестанно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок».

Правительство вышло из недельного шока, последовавшего за взрывом в Зимнем. Диктатура, к которой не уставали призывать «Московские ведомости», была наконец установлена.

Однако это была диктатура особого рода. Дело заключалось в имени. Главным начальником Верховной распорядительной комиссии стал граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.

Выходец из древнего армянского рода, боевой генерал и недавний покоритель Карса, он привлёк к себе внимание России не только этим победоносным штурмом. Уже в мирное время ему удалось одержать верх над ветлянской чумой, поразившей устье Волги и страшившей жителей обеих столиц. (Впрочем, поговаривали, что последняя победа досталась графу даром: чума прекратилась ещё до его прибытия.) Будучи в 1879 году назначен генерал-губернатором Харькова, он ухитрился не повесить там ни одного человека (не в пример своим коллегам в Киеве, Одессе и Петербурге), чем и завоевал симпатии поражённых таким обстоятельством либералов.

Его не зря называли «вице-императором»: дарованные ему полномочия были почти безграничны. Ему предоставлялась власть «делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми... как в С.-Петербурге, так и в других местностях империи»³⁵². Он становился главноначальствующим в городе Петербурге, ему подчинялись III Отделение и корпус жандармов. «Человек со стороны», далёкий от двора и почти неизвестный в высших сферах, превращался в фактического правителя России. «Ни один временщик, – признавался он впоследствии, – ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев – никогда не имели такой всеобъемлющей власти»³⁵³.

«Диктатура полнейшая, – записывает 15 февраля в своём дневнике А. А. Киреев. – Вице-император. Что ж, если настоящему Императору не удаётся сладить с нигилистами, то пусть ладит кто иной. Государю-то, пожалуй, вешать не слишком удобно»³⁵⁴. И повторяет ту же мысль в письме сестре – О. А. Новиковой: «Делегация почти царской власти Лорису есть полуабдикация (отречение от престола. – *И.В.*), с другой стороны, что же делать?»³⁵⁵

Учреждение Верховной распорядительной комиссии было своего рода государственным переворотом сверху. С первых же шагов Лорис-Меликов постарался показать, что будет пользоваться вручённой ему властью с известной осторожностью. Его обращение «К жителям столицы» было составлено в решительном и одновременно *намекающем* тоне.

³⁵² Правительственный вестник. 1880. 15 февраля.

³⁵³ Кони А. Ф. На жизненном пути. Т. 3. Часть I. Ревель – Берлин, 1923. С. 16.

³⁵⁴ Зайончковский П. А. Кризис самодержавия... С. 159.

³⁵⁵ Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация... С. 100.

«Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, – заявлял начальник Верховной распорядительной комиссии, – могу обещать лишь одно – приложить все старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни пред какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой – успокоить и оградить законные интересы благомыслящей его части. Убеждён, что встречу поддержку всех честных людей, преданных Государю и искренно любящих свою родину, подвергшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям».

Далее следовало самое примечательное: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества»³⁵⁶.

К обществу впервые обращались по-человечески; более того – обращались с *просьбой*. К подобному языку не привыкли.

Так начиналась «диктатура сердца».

У Достоевского могли явиться некоторые надежды, что программа, изложенная им 14 февраля (этим же днём помечено обращение Лорис-Меликова), имеет хоть какой-то шанс осуществиться. Как же отнёсся он к столь резкому повороту государственной жизни и – к самому Лорис-Меликову?

Опасения и упования

Первое, что его беспокоит, – это в чьих руках окажется дело. Он настойчиво вопрошает Суворина («точно я что-нибудь знал», – скромно замечает последний), «хорошими ли людьми окружает себя Лорис, хороших ли людей пошлёт он в провинцию? Ведь это ужасно важно. А хорошие люди есть, выбирать есть из чего». Как и всегда, Достоевского волнует не форма, а суть, чисто человеческая сторона проблемы. Для него не столь важно, хороши или плохи те или иные установления: он хочет знать, кто будет проводить их в жизнь.

Он желает убедиться в исторической компетентности нового руководителя государства, в глубине его ретроспективного понимания русской жизни. «Да знает ли он, – не отстаёт от Суворина Достоевский, – отчего всё это происходит, твёрдо ли знает он причины?..»

Иными словами: понимает ли Лорис свою миссию только в первом приближении – как непосредственную борьбу с крамолой, или же у него достанет сил пойти вглубь, осознать проблему, которую он призван решать, не в категориях привычного, инерционного, сугубо бюрократического мышления, а в контексте всей русской истории? «Ведь у нас всё злодеев хотят видеть...»³⁵⁷ – сердито добавляет Достоевский, и похоже, что в данном случае его раздражение направлено против тех, кто полагает простым искоренением «злодеев» искоренить само злодейство.

15 февраля (то есть в день, когда появилось воззвание Лорис-Меликова) Софья Ивановна Смирнова (Сазонова) посетила Достоевского.

Она записывает в дневнике: «Б<ыла> у Достоевского. Он сидит больной, недавно б<ыл> припадок. Рассказывает мне план св<оего> романа. Гов<орит> о верховной комиссии, о том, как Лорис-Меликов будет ловить революционеров, о том, что его воззвание «К общ<еству>» плохо отредактировано...»³⁵⁸

³⁵⁶ Правительственный вестник. 1880. 15 февраля.

³⁵⁷ Новое время. 1881. 1 февраля. Заметим, что эти строки были опубликованы, когда Лорис-Меликов ещё находился у власти.

³⁵⁸ Материалы и исследования. Т. 4. С. 275. Действительно, в обращении Лорис-Меликова встречаются неуклюжие и двусмысленные обороты. Оно начиналось так: «Ряд неслыханных злодейских попыток к потрясению общественного строя государства и к покушению на священную особу государя Императора в то время, когда все сословия готовятся

Он пребывает в двух жизненных кругах одновременно: в своём всё время расширяющемся романном мире и в том, который свидетельствует о себе со столбцов сегодняшних газет. Эти круги незримо связаны между собой. Кто знает, может быть, и Смирновой (Сазоновой) он поведал о том же, о чём в эти дни толковал с Сувориным: об Алёше, совершающем «политическое преступление» и гибнущем на эшафоте.

«Говорит... как Лорис-Меликов будет ловить революционеров» – в этом нейтральном неразвёрнутом сообщении можно ощутить всё тот же акцент: опасение, что дело ограничится только административными мерами.

Он знал силу слова – и ему, писателю, не понравилась редактура (в своё время первое, что сделал Огарёв, разбирая в «Полярной звезде» коронационный Манифест Александра II, – это выбрал *стиль*³⁵⁹¹⁴⁹³). Но ведал ли он о том, что воззвание Лорис-Меликова (как недавно выяснилось) было составлено близким к Суворину публицистом К. Скальковским по образцу воззваний Наполеона III, а затем отредактировано самим Сувориным?³⁶⁰ (Кстати, этот малоизвестный факт объясняет некоторые недомолвки суворинских воспоминаний: может быть, издатель «Нового времени» сообщил Достоевскому о своём участии в политическом дебюте Лорис-Меликова, почему тот и донимал его вопросами.)

И всё-таки, несмотря на все свои опасения, он надеялся: «Я ему (Лорис-Меликову. – И.В.) желаю всякого добра, всякого успеха...»

20 февраля, по свидетельству Суворина, «он был необыкновенно весел». Издатель «Нового времени», просидевший у него два часа, утверждает, что он «радовался замирению» (именно *так* поняты им последние новости) и с большим оптимизмом смотрел в будущее: «Вот увидите, начнётся совсем новое. Я не пророк, а вот Вы увидите. Нынче все иначе смотрят»³⁶¹.

Так говорит Суворин в своих воспоминаниях. Теперь обратимся к его дневниковой записи, повествующей о тех же событиях. Хотя текст этот достаточно хорошо известен, имеет смысл обратиться к нему ещё раз.

Христос у магазина Дациаро

20 февраля Суворин посетил Достоевского: «Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиней набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:

– А у меня только что прошёл припадок. Я рад, очень рад.

И он продолжал набивать папиросы».

Естественно, разговор зашёл о недавнем взрыве в Зимнем дворце. «Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться».

торжествовать двадцатипятилетнее, плодотворное внутри и славное извне, царствование великодушнейшего из монархов, вызвал не только негодование русского народа, но и отвращение всей Европы» (Правительственный вестник. 1880. 15 февраля).

³⁵⁹ «Мне скажут, что это маловажно, – писал Огарёв. – Нет! Не маловажно! Это значит, что правительство не умеет найти грамотных людей для редакции своих законов... Это явление страшное, которое приводит в трепет за будущность, ибо носит на себе печать бездарности»¹⁴⁹³.

¹⁴⁹³ Полярная звезда на 1857 г. Лондон, Вольная русская книгопечатня, 1857. С. 2.

³⁶⁰ Хейфец М. И. Указ. соч. С. 105–106.

³⁶¹ Новое время. 1881. 1 февраля.

Обратим внимание: речь касается *нравственной оценки*.

«Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

– Нет, не пошёл бы...

– И я бы не пошёл. Почему? Ведь это ужас. Это – преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить...»³⁶²

«Если сравнить, – пишет Л. П. Гроссман, – эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 года, придётся пожалеть об упавшей общественной морали великого романиста»³⁶³.

Мы поостереглись бы делать столь решительное умозаключение. Ибо колебания свидетельствуют как раз об обратном: о самом пристальном, самом жгучем внимании как раз к проблемам общественной морали.

В 1849 году он действительно вёл себя мужественно и честно: поступал в соответствии со своими убеждениями. Он не отрёкся ни от чего, во что искренно верил; не выдал никого из своих товарищей и друзей.

Теперь, в 1880 году, он «моделирует» совершенно иную нравственную ситуацию. А именно: как должно вести себя по отношению к своим политическим противникам в минуту двойной смертельной опасности. Опасности, во-первых, для них самих, а во-вторых, для других (в том числе не только для царя: десять убитых и пятьдесят искалеченных солдат Финляндского полка – по-видимому, не последняя величина в условиях этой поставленной самому себе задачи).

Рассматриваются две возможности: просто пойти предупредить – и тем самым предотвратить взрыв и гибель людей – или обратиться к городовому, чтобы он задержал преступников.

Оба этих варианта по размышлении отвергаются.

Тут следует вновь обратиться к его предсмертному спору с Кавелиным.

Выше уже приводилась запись о том, что инквизитора, «сожигающего еретиков» в согласии со своими убеждениями, нельзя признать нравственным человеком. Через несколько страниц Достоевский вновь возвращается к этой теме.

³⁶² Суворин А. С. Дневник. С. 15–16. Имеет смысл остановиться на странной и до сих пор не замеченной хронологической неувязке. Считается, что в неоднократно упоминавшейся нами статье «О покойном» (Новое время. 1881. 1 февраля) и в своём дневнике Суворин рассказывает об одном и том же разговоре (в первом случае в качестве даты он называет «праздник двадцатипятилетия государя», то есть по точному смыслу – 19 февраля, во втором – 20 февраля; к «празднику двадцатипятилетия» можно, разумеется, отнести оба дня). При этом Суворин говорит о только что прошедшем у Достоевского припадке. Однако в собственноручной записи Достоевского «Припадки 79–80 гг.» ни 19-е, ни 20 февраля *не отмечены*. Ближайшим по времени оказывается припадок 9 февраля (Литературное наследство. Т. 83. С. 698). Из этого следует: либо Суворин спутал два разных посещения 9-го и 20 февраля, либо 20 февраля всё-таки был припадок, не отмеченный Достоевским. Правда, Суворин в дневнике делает одно точное указание: на событие, которое совершилось именно 20 февраля (о нём будет сказано ниже). Но автор дневника не застрахован от ошибок памяти (тем более что запись сделана через несколько лет). Возможен и другой вариант: Суворин был у Достоевского тогда же, когда и Смирнова (Сазонова), то есть в день объявления о назначении Лорис-Меликова – 15 февраля; около этого дня (9-го?) у Достоевского был упомянутый Смирновой (Сазоновой) припадок. Во всяком случае, и она, и Суворин, очевидно, говорят об одном и том же приступе эпилепсии. Установление точной даты могло бы многое прояснить, ибо в *такое* время важны не только дни, но и часы.

³⁶³ Гроссман Л. Достоевский. Москва, 1965. С. 540.

«Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?»³⁶⁴

Это моральная проблема Родиона Раскольникова.

Действительно: если пролитие «крови по совести» (то есть в согласии с внутренним убеждением) допустимо (а именно так полагает Раскольников), тогда в принципе допустимо *любое* пролитие крови, ибо подходящие «убеждения» всегда найдутся. Убийство может быть оправдано соображениями высшей целесообразности, но от этого само по себе оно не становится моральным актом.

«Нравственно, – записывает Достоевский, – только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы её воплощаете».

Раскольникова погубила эстетика: перешагнув порог этический, он споткнулся именно на ней – оказался «эстетической вошью». Сходная участь постигла и Ставрогина («Некрасивость убьёт, – прошептал Тихон, опуская глаза», – после того как выслушал исповедь Ставрогина о растлении им двенадцатилетней Матрёши).

Этика, не совпадающая с идеалом красоты, грозит своему адепту самоуничтожением.

«Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос, – ещё раз приведём запись в последней тетради. – Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, – нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный»³⁶⁵.

Против этой записи, на полях, он ставит *NB*, три плюса и два восклицательных знака.

В споре с Кавелиным Достоевский оперирует примерами историческими. Сжигание еретиков – это эпоха Великого Инквизитора, «ночь Средневековья».

Но у него есть аргументы и поновее.

«Помилуйте, – записывает Достоевский, – если я хочу по убеждению, неужели я человек нравственный. Взрываю Зимний дворец, разве это нравственно»³⁶⁶.

Попробуем в данном случае применить тот же критерий, который принимает сам Достоевский.

Христос, взрывающий Зимний дворец, – это выглядит чудовищно.

Но намного ли лучше выглядит Христос, *доносящий* полиции на тех, кто взрывает?

В разговоре с Сувориным Достоевский говорит, что он мысленно перебрал все причины, которые могли бы заставить его донести на взрывателей. «Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто – боязнь прослыть доносчиком»³⁶⁷.

Думается, что в последнем случае Достоевский кое-что недоговаривает. Среди «непозволяющих» причин были не только одни «ничтожные».

В той же записной тетради сказано: «...иногда нравственнее бывает не следовать убеждениям, и сам убеждённый, вполне сохраняя своё убеждение, останавливается от какого-то чувства и не совершает поступка»³⁶⁸.

Донос – даже в соответствии с убеждениями – не становится от этого эстетически ценным. «Некрасивость» убийства не выкупается «красотой» предательства.

Как же должен был поступить Христос (или, что легче представить, Алёша Карамазов), оказись он у магазина Дациаро? Лично схватить преступников или кликнуть городо-

³⁶⁴ Литературное наследство. Т. 83. С. 695.

³⁶⁵ Там же. С. 676.

³⁶⁶ Там же. С. 675. Это место не вошло в первую (1883 г.) публикацию записных книжек (Ср.: Биография... С. 370–371, вторая пагинация).

³⁶⁷ Суворин А. С. Дневник. С. 15–16.

³⁶⁸ Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

вого, то есть вмешать в дело «кесаря»? Броситься в Зимний дворец и погибнуть вместе с взрываемыми?

Из этого положения не было выхода.

«Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния»³⁶⁹ – так передает Суворин слова Достоевского. Выставляется причина внешняя и, по сути, не главная. «До отчаяния» могла скорее довести собственная совесть – колебание нравственное.

Либералы, однако, упомянуты не случайно. Отношение либерального общества к политическому террору своей двусмысленностью подавало повод вспомнить поведение Ивана Карамазова, уезжающего перед убийством отца в Чермашню. Такая нравственная позиция невыносима для Достоевского. Но, как сказано, невыносима и мысль о возможности политического доноса (уж никак не совпадающего с «чувством красоты»).

Вопрос о личном моральном самоопределении оставался открытым.

Ещё один промах

В те самые часы, когда Достоевский вёл долгую беседу с издателем «Нового времени», собеседники ещё не знали, что на улицах Петербурга происходит нечто, имеющее самое непосредственное отношение к их сегодняшнему разговору.

Около двух часов дня 20 февраля граф Лорис-Меликов возвращался домой после похорон графини Протасовой. Карета главного начальника Верховной распорядительной комиссии остановилась на углу Большой Морской и Почтамтской – у дома, где квартировал граф. Городовые, стоявшие у подъезда, замерли и взяли под козырёк. Михаил Тариелович уже поднялся было на крыльцо, как вдруг, по словам газетного отчёта, «какой-то человек, оборванный, грязно одетый, подскочил с правой стороны к графу и, уперев револьвером в правый бок графа, ближе к бедру... выстрелил и тотчас уронил пистолет из рук».

Лорис-Меликов не был даже ранен. Боевой генерал, он не счёл возможным бежать с поля боя.

«Граф... ни на секунду не теряя присутствия духа, сбросил шинель и соскочил на тротуар, чтобы схватить преступника»³⁷⁰. Но того уже взяли: взятие, натурально, сопровождалось избиением. Граф направился в дом, пошутив с народом, что его пули не берут. Преступника связали и увезли; при этом он попросил застегнуть на себе сюртук, чтобы не простудиться.

Покушавшимся оказался двадцатичетырёхлетний еврей Ипполит Осипович Млодецкий, мещанин города Слуцка Минской губернии.

Некоторое время назад Млодецкий скитался по Петербургу, и его подозрительно часто встречали на Дворцовой площади. Как лицо без определённых занятий, он был выслан из столицы на родину. В Минске он несколько ночей добровольно провёл в участке, платя за полицейское гостеприимство перепиской рапортичек. Затем похитил револьвер системы «ляфоше» и исчез, чтобы объявиться уже в новом качестве.

Млодецкий действовал на свой страх и риск: его поступок не был санкционирован «Народной волей». Он хотел нанести удар непременно 19 февраля, но, не зная Лорис-Меликова в лицо, замедлил на сутки.

Вместо ожидаемых в дни юбилейных торжеств взрывов, пожаров и прочих ужасных катаклизмов раздался один-единственный выстрел, так и не достигший цели.

Тем не менее событие произвело сильнейшее впечатление – и в России, и за границей.

³⁶⁹ Суворин А. С. Дневник. С. 16.

³⁷⁰ Новое время. 1880. 21 февраля.

«В заграничных газетах пишут, – отмечает в своём дневнике С. И. Смирнова (Сазонова), – что выстрел Млодецкого стоил России 12 миллионов. Пишут также, что вопрос о падении нашей династии – вопрос только времени. Нетерпеливые ожидания революции в России; фантастич<еские> иллюстрации с представлениями взрывов и поимки нигилистов...»³⁷¹

Заграничные газеты писали о падении династии, русские – поругивали полицию за нерасторопность. «С полицейскими повторилась известная история: они брали под козырёк в то время, когда надо было схватить злодея и обратить внимание на близстоящих»³⁷².

Как же отнёсся к событию Достоевский?

«Покушение на жизнь графа Лорис-Меликова его смутило, – свидетельствует Суворин, – и он боялся реакции. “Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу”».

Свидетельство, если вдуматься, знаменательное. Оно показывает, чего опасался Достоевский в первую голову. Разумеется, он не одобряет покушений, но негодование его в данном случае обращено не столько на преступника, сколько на очевидную неуместность его деяния. Его страшат последствия. Он боится ответных – кровавых – действий со стороны власти. Он говорит о той провокативной роли, какую может сыграть (и, как мы знаем, до сих пор играет) политический экстремизм – эта прелюдия к политической реакции.

В своих воспоминаниях Суворин пишет: «Во время политических преступлений наших он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. “Вы не видели того, что я видел, – говорил он, – вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи”»³⁷³.

Может быть, эти страхи тоже следует объяснять болезненным воображением Достоевского?

Но вот что говорит о народных толках в те февральские дни такой трезвый наблюдатель, как граф де Воллан. «Кто желает убить царя – господ, потому что он дал волю. Это семя, брошенное умелою рукою, может взрасти в чудовищно-грозный призрак...»

В призрак контрреволюции.

«...В народе, – продолжает де Воллан, – идёт глухой ропот, что во взрыве (в Зимнем дворце. – И.В.) виноваты сановники, господа и что фабричные перевернут вверх дном Петербург и будут бить всякого в немецком платье... Все представляют себе, в какой ярости будет народ»³⁷⁴.

«Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости...» – говорит Достоевский.

Здесь не только неприятие того, что Пушкин называл «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», не только естественное отвращение к разгулу слепой и кровавой стихии.

В этих словах – ужас перед провокацией. Перед белым террором – стихийным или направляемым сверху, перед охотничьим, взявшим на себя защиту «народной правды».

Это ужас не только пугачёвщины, но и – Вандеи.

Да, он был убеждённым противником революционных мер. Однако не в меньшей степени, чем революции, автор «Бесов» страшится *контрреволюции*.

«Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу».

«На старую дорогу», окаймлённую долгим рядом виселиц, окончательно повернули через год – после 1 марта: правда, этого Достоевский уже не увидел.

³⁷¹ Материалы и исследования. Т. 4. С. 275.

³⁷² Новое время. 1880. 22 февраля. Не этими ли газетными пересудами вызвана позднейшая запись Достоевского: «... стрельба в Лорис-Меликова, а они только под козырьки»? (Литературное наследство. Т. 83. С. 672.)

³⁷³ Новое время. 1881. 1 февраля.

³⁷⁴ Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140.

Одна виселица, впрочем, была воздвигнута.

Два утра с интервалом в тридцать лет

Суд над Млодецким оказался скорым. К вечеру того же дня, 20 февраля, следствие было закончено. На следующий день, в половине одиннадцатого утра, обвиняемый предстал перед С.-Петербургским военно-окружным судом, который в час пополудни вынес приговор. 22 февраля Млодецкий был повешен³⁷⁵.

Достоевский присутствовал при казни.

Какие причины заставили его сделать это? Зачем понадобилось ему вставать чуть свет (ему, «сове», привыкшему к ночной работе и поздним пробуждениям) и, ещё не оправившись после недавнего припадка, тащиться на Семёновский плац, присутствовать, быть свидетелем, *видеть*?

26 февраля, через четыре дня после казни Млодецкого, великий князь Константин Константинович заносит в свой дневник впечатления о бывшем у него вечере – «с Достоевским и дамами».

«Так как мне неловко принимать дам у себя, – записывает будущий К.Р., – то Мама́ пригласила гостей в свои парадные комнаты, а сама она, по болезни, конечно, не будет показываться... Вечер начался в 9 часов в угловом малиновом кабинете и прошёл весьма благополучно. По выражению Льва Толстого, мы подавали Достоевского его любителям, как изысканное кушанье».

В этой утончённой дворцовой обстановке, в присутствии дам самого высшего общества Достоевский заводит разговор совершенно несветский: о том, что он видел *там*.

«Достоевский ходил смотреть казнь Млодецкого, – продолжает молодой Романов, – мне это не понравилось, мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела; но он объяснил мне, что его занимало всё, что касается человека, все положения его жизни, его радости и муки. Наконец, может быть, ему хотелось повидать, как везут на казнь преступника, и мысленно вторично пережить собственные впечатления. Млодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Фёдор Михайлович объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти, ему припоминаются большею частью отрадные картины, его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны: ужасен переход в другой неизвестный образ...»³⁷⁶

Внук Николая I, некогда пославшего его нынешнего гостя на эшафот, излагает слова самого Достоевского, передаёт его впечатления. Собеседник великого князя достаточно с ним откровенен. Но кое о чём он предпочитает умалчивать.

Попытаемся же восстановить всю картину.

Слух о казни Млодецкого распространился к вечеру 21 февраля: именно слух, так как о предстоящей казни утренние газеты сообщить не успели. На Семёновском плацу трудились плотники. Поздно вечером поручик Судоплатов осмотрел эшафот, а также уже послужившие в своё время Дубровину «позорные дроги», которые согласно инструкции надлежало немедленно «по исполнению казни вернуть обратно в крепость»³⁷⁷.

³⁷⁵ «...Это был единственный раз, – язвительно замечает князь Мещерский, – когда граф Лорис поступил энергично» (Мещерский В. П. Мои воспоминания. Т. 1. С. 450).

³⁷⁶ Литературное наследство. Т. 86. С. 137.

³⁷⁷ Венедиктов Д. Г. Палач Иван Фролов и его жертвы. С. 57.

21 февраля, очевидно, ещё до первых известий о приговоре (или, по крайней мере, до известий о времени и месте казни), двадцатипятилетний Всеволод Гаршин написал письмо, адресованное Лорис-Меликову.

«Ваше сиятельство, – обращается к диктатору молодой писатель, – простите преступника! В Вашей власти не убить его человеческую жизнь... Помните... что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, – положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьёте нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди».

О времени исполнения приговора Гаршину стало известно ещё до отправления этого письма. И он делает следующую приписку: «Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! Умоляю Вас, умиротворите страсти, ради преступника, ради меня, ради Вас, ради Государя, ради родины и всего мира, ради Бога»³⁷⁸.

Это крик души – души ужаснувшейся и потрясённой.

Справедливо замечено, что письмо Гаршина по своему замыслу и аргументации предвосхищает позднейшие призывы Вл. Соловьёва и Льва Толстого к Александру III о помиловании первомагтовцев. Но оно является также и своеобразным комментарием к приводившейся выше записи Достоевского о казни Квятковского и Преснякова (хотя эта запись сделана значительно позднее), к кругу «повторяющихся» идей, владевших им в последний год его жизни. Письмо Гаршина свидетельствует о реальности (и в известной мере даже типичности) тех общественных умонастроений, на которые пытался опереться автор Пушкинской речи в поисках выхода из исторического тупика.

Трудно сказать, узнал ли когда-нибудь об этом послании Достоевский. Но он мог знать о другом: о событиях, случившихся после отсылки гаршинского письма и ставших вскоре известными в литературных кругах.

В ночь с 21 на 22 февраля, не надеясь, очевидно, на действенность своей эпистолы, Гаршин в чужой, «важной» шубе явился домой к Лорис-Меликову и, несмотря на поздний час, был принят.

...Какой между ними произошёл разговор – никому не известно. По одной версии, Гаршин, рыдая, на коленях умолял Лорис-Меликова помиловать Млодецкого, по другой – грозил ему, говоря, что у него под ногтями сокрыты пузырьки с ядом и ему ничего не стоит, оцарапав графа, отправить его на тот свет³⁷⁹.

Любезному, умеющему располагать к себе людей Лорис-Меликову удалось успокоить Гаршина – и тот уехал домой, надеясь, что всемогущий генерал что-нибудь предпримет. В это время на Семёновском плацу заканчивали последние приготовления.

...Народ стал собираться с семи часов утра: газеты оценивают общее количество собравшихся тысяч в шестьдесят. Люди усеяли крыши домов, высокие мишени семёновского стрельбища и даже забирались на крыши вагонов Царскосельской железной дороги.

³⁷⁸ Оксман Ю. Вс. Гаршин в дни «диктатуры сердца» // Каторга и ссылка. 1925. № 2 (15). С. 134.

³⁷⁹ См.: Русанов Н. С. Из моих воспоминаний // Былое. 1906. Т. 12. С. 50–52. Совершившаяся казнь Млодецкого была одной из причин начавшегося у Гаршина тяжёлого душевного расстройства.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.